



К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ

Московский Сборник

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

I

Знаменательное явление нашего времени — борьба церковных начал с государственными. Когда начинается борьба из-за начал духовно-религиозных, невозможно рассчитать, какими пределами она ограничится и какие элементы вовлечет в себя; до чего дойдет и где уляжется море страстей, взволнованное спором за убеждения и верования. В вопросах верования народного государственной власти необходимо заявлять свои требования и устанавливать свои правила с особливою осторожностью, чтобы не коснуться таких ощущений и духовных потребностей, к которым не допускает прикасаться самосознание массы народной. Как бы ни была громадна власть государственная, она утверждает не на ином чем, как на единстве духовного самосознания между народом и правительством, на вере народной: власть подкапывается с той минуты, как начинается раздвоение этого, на вере основанного сознания. Народ, в единении с государством, много может понести тягостей, много может уступить и отдать государственной власти. Одного только государственная власть не вправе требовать, одного не отдадут — того, в чем каждая верующая душа в отдельности и все вместе полагают основание духовного бытия своего и связывают себя с вечностью. Есть такие глубины, до которых государственная власть не должна касаться, чтобы не возмутить коренных источников верования в душе у всех и каждого.

Главным источником возникших и грозящих еще усилиться недоразумений между народом и правительством служит иску-

ственно создаваемая теория отношений между государством и Церковью. В историческом ходе событий на западе Европы, неразрывно связанных с развитием римско-католической церкви, сложилось и вошло в систему государственного устройства понятие о Церкви, как об учреждении духовно-политическом, со властью, которая, вступив в противоположение с государством, предприняла с ним борьбу политическую; событиями этой борьбы занято все поле истории на западе Европы. Из-за этого политического значения Церкви отошло на задний план и померкло в сознании государственном простое, истинное, природное понятие о Церкви, как о собрании христиан, органически связанных единством верования в союз богоучрежденный. Это понятие таится, однако, в глубине народного сознания, соответствуя самой коренной и глубочайшей потребности души человеческой — потребности верования и единения в вере. В этом смысле Церковь, как общество верующих, не отделяет и не может отделять себя от государства, как общества, соединенного в гражданский союз. До какого бы совершенства ни достигло в уме логическое построение отношений, на *разделении* основанных, между государством и Церковью, им не удовлетворится простое сознание в массе верующего народа. Удовлетворен может быть ум политический, как наилучшею формою сделки, как совершеннейшею философскою конструкцией понятий; но в глубине духа, ощущающего живую потребность веры и единства веры с жизнью, это искусственное построение не отзывается истиною. Жизнь духовная ищет и требует выше всего *единства* духовного, и в нем полагает *идеал* бытия своего; а когда душе показывают этот идеал в *раздвоении*, она не принимает такого идеала и отвергается. Верование — по свойству своему безусловное, не терпит ничего условного в своей идеальной конструкции. Правда, что в действительности жизнь всех и каждого есть непрерывная история падения и раздвоения — печального раздвоения между идеей и делом, между верой и жизнью; но в этой непрерывной борьбе дух человеческий держится в равновесии не иным чем, как верою в идеальное, конечное единство, и дорожит такою верою, как первым и исконным сокровищем бытия своего. Приведите человека в сознание этого раздвоения: он никнет и смиряется мыслью. Покажите ему конец раздвоения, к которому стремится дух — он поднимет голову, сознает себя живущим и стремится вперед с верою. — Но когда вы скажете ему, что жизнь сама по себе, а вера сама по себе, и это понятие станете возводить в теорию жизни, — душа не принимает такого понятия, с тем же

отвращением, с каким встречает мысль о конечном и решительном уничтожении бытия. Возразят, может быть, что здесь дело идет о личном веровании. Но личное верование не отделяет себя от верования церковного, так как существенная его потребность есть единение в вере, и этой потребности оно находит удовлетворение в Церкви.

В Западной Европе издавна продолжается борьба Церкви с государством и государства с Церковью. Последнее слово этой борьбы еще не сказано — и каково будет оно, еще неизвестно. Та и другая сторона меряет свои силы и скликает свои дружины. Государство опирается на силы интеллигенции, церковь опирается на верование народной массы и на сознание авторитета духовного. Нет сомнения, что в конечном результате победа будет на той стороне, на которой окажется действительное объединение глубокого, жизненного верования. Государственной интеллигенции предстоит во всяком случае трудная задача — привлечь на свою сторону и соединить с собою твердо — народное верование. Но для того, чтобы привлечь верование и слиться с ним, нужно показать в себе живую веру; одной интеллигенции для этого недостаточно. *Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi*¹. Народное верование чутко, и едва ли можно обольстить его видом верования или увлечь в сделку верований: живая вера не допускает сделки, не признает абсолютного господства рассудочной логики. Хотя к верованию обыкновенно применяется понятие об убеждениях, но *убеждение рассудка* нельзя смешать с *убеждением веры*, и *сила умственная*, сила интеллигенции и мышления весьма ошибается, если полагает в себе самой все нужное для *силы духовной*, независимо от верования, составляющего самую сущность духовной силы.

В этом смешении понятий кроется для государства великая опасность в борьбе с Церковью. Когда в эпоху реформации государственная власть в Германии становилась во главе движения против старой церковной власти и вырабатывала новую организацию Церкви, — она обладала действительною духовною силою верования. Движение, к которому присоединилась она, возникло в массе народной, проникнутое глубоким, сосредоточенным верованием: первые вожаки его, представляя в себе высшую интеллигенцию тогдашнего общества, в то же время горели огнем веры глубокой, объединяющей их с народом. Итак, в этом движении сосредоточилась громадная духовная сила, которой должна была уступить, после долголетней борьбы, веками утвердившаяся сила старого закона.

Ныне совсем другие обстоятельства. Со стороны государства произошло разъединение между верованием народным и политической конструкцией церковного отправления, в государственном сознании. С другой стороны, со стороны интеллигенции разъединение еще более разительное между верованием и научной конструкцией верования. Богословская наука, не ограничиваясь первоначальною своею задачей — привести в сознание и обнять общим взглядом церковные верования, грозит уже поглотить в себе всякое верование, подчинив его беспощадному критическому анализу разума, как факт, как внешний предмет исследования. Политическая наука построила строго выработанное учение о решительном отделении Церкви и государства, учение, вследствие коего, по закону, не допускающему двойственного разделения церковных сил, Церковь непременно оказывается на деле учреждением, подчиненным государству. Вместе с тем государство, как учреждение, в политической идее своей является отрешенным *от всякого верования* и равнодушным к верованию. Естественно, что с этой точки зрения Церковь представляется не иным чем, как учреждением, удовлетворяющим одной из признанных государством потребностей населения — потребности религиозной, и новейшее государство обращается к ней с правом своей авторизации, своего надзора и контроля, не заботясь об веровании. Для государства, как для верховного учреждения политического, такая теория привлекательна, потому что обещает ему полную автономию, решительное устранение всякого, даже духовного, противодействия, и упрощение всех операций церковной его политики. Но такие обещания обманчивы. Этой теории, сочиненной в кабинете министра и ученого, народное верование не примет. Во всем, что относится до верования, сознание народное успокаивается только на простом и цельном представлении, объемлющем душу и отвращается от искусственно составленных понятий, когда чувствует в них ложь или разлад с истиною. Так, например, политическая теория может удобно мириться с оставлением в должности и на церковной кафедре пастора или профессора на богословской кафедре, который (явление, к несчастью, ставшее уже обычным в Германии) публично объявил, что не верует в Божество Спасителя; но совесть народная никогда не поймет такой конструкции понятия о церковном пастыре, и с отвращением назовет ее ложью. Печально и ненадежно будет положение государственной власти, когда ее распоряжение и действие по предметам, относящимся до веры, — совесть народная привыкнет ставить в ложь и причитать к безверию.

II

Об отделении Церкви от государства прекрасно рассуждает бывший патер Гиацинт, читавший по этому предмету публичные лекции в Женеве весной 1873 года. Война насмерть с Церковью — это мечта революционной партии, — по крайней мере тех крайних ее представителей, которые в политике ставят себя якобинцами, а в области религиозных идей распространяют безбожие и материализм. Им служат орудием — софизм² и насилие. Все уже потеряли к ним доверие повсюду; они слепы и не в силах вести борьбу, потому что все смешивают в своем противнике, ничего не различая, и преувеличивают без меры его значение.

Французская революция поставила себе целью обновить общество; но обновить его можно было только применением к гражданскому обществу христианских начал. Возникла борьба между революцией и римской теократией, причем революция смешала римскую теократию с католическою церковью, со вселенством, которое объемлет всех верующих христиан, смешала с Евангелием и лицом Христа Спасителя. Итак, война объявлена была не столько Риму, сколько царству Христову на земле. В христианстве эти люди стали преследовать самое религиозное чувство, которое слилось уже в течение 2 000 лет нераздельно с христианством. Вот какого противника вызвали они на бой, вооружившись на него двояким — низким, опозоренным оружием: секирою палача и живым словом софиста.

Католическая религия во Франции была не в доброй славе, благодаря аббатам-вольнодумцам, наполнявшим дворцовые приемные, благодаря известной легкости нравов тогдашнего общества. Вдруг ее будят, поднимают, влекут из темницы. Во имя ее всходят на эшафот священники, девы, поселяне, вместе с знатными дворянами, с поэтами, с государственными людьми — как было в эпоху первых цезарей. На ризах ее видна была кровь от Варфоломеевской ночи, видны были следы родительских и сиротских слез, после отмены Нантского эдикта; все эти следы вдруг сгладились; ничего стало не видно за собственною ее кровью, за следами собственных ее слез. Вот почему, когда она после того встала, то встала в полном сиянии славы, без всяких пятен. Это сияние приготовили для нее палачи ее.

Точно так же действовали и софисты-философы. Они стали раскапывать вопросы, которые новейшая наука объявляет недоступными для решения; стали доискиваться в таинстве смерти, и увидели в нем одну мечту и выдумку; стали углубляться в про-

исхождение человечества и у колыбели его признали, вместо библейского Адама из земли созданного, какое-то неведомое существо, медленно выделяющееся из животной жизни, вырождающееся сперва в обезьяну, потом в человека. И вот, поставивши этого человека и у начала его, и у исхода, в сплошную среду животной жизни, унизив его до пределов гниения, они стали приветствовать его величие: «Как ты велик, человек, в атеизме и в материализме, и в свободе самочинной, ничему не покоряющейся нравственности!» Но посреди всего этого странного величия человек этот оказался подавлен грустью. Он утратил Бога, но сохранил потребность религии. Так ощутительна эта потребность, что возможна, мы видим, религия даже без Бога; таков буддизм — религия, одушевляющая миллионы последователей. И в самом деле, хотя бы и правда было, — что первый человек выродился из среды животной, — что мне в том? В книге Бытия указана еще грубее материя, из которой создан человек, — грязь и прах, персть земная. Какая бы ни была то материя, — разве в ней, разве в оболочке — весь человек? Он приял от Создателя своего — *живую душу*, то дыхание жизни религиозной и нравственной, от которого не может, когда бы и хотел, отделаться. Вот что не допустит его никогда отречься от христианской религии!

Проповедуется отделение Церкви от государства. Тут одни слова, но нет единой идеи, потому что под одним словом отделения разуместь можно многое. Пусть определяют сначала, в чем оно заключается. Если дело состоит в более точном разграничении гражданского общества с обществом религиозным, церковным, духовного со светским, о прямом и искреннем размежевании, без хитростей и без насилия, — в таком случае все будут стоять за такое отделение. Если, становясь на практическую почву, хотят, чтобы государство отказалось от права поставлять пастырей Церкви и от обязанности содержать их, — это будет идеальное состояние, к которому желательно перейти, которое нужно готовить к осуществлению при благоприятных обстоятельствах и в законной форме. Когда вопрос этот созреет, государство, если захочет так решить его, обязано возратить кому следует право выбора пастырей и епископов; в таком случае нельзя уже будет отдавать папе то, что принадлежит клиру и народу по праву историческому и апостольскому. Государство, в сущности, только держит за собою это право, но оно не ему принадлежит.

Но говорят, что отделение надо разуместь в ином, обширнейшем смысле. Умные, ученые люди определяют его так: государству не должно быть дела до Церкви, и Церкви — до государст-

ва, итак, человечество должно возвращаться в двух обширных сферах, так что в одной сфере будет пребывать тело, а в другой — дух человечества, и между обеими сферами будет пространство такое же, какое между небом и землею. Но разве это возможно? Тело нельзя отделить от духа; и дух и тело живут единою жизнью.

Можно ли ожидать, чтобы Церковь — не говорю уже католическая, а церковь какая бы то ни была, — согласилась устранить из сознания своего гражданское общество, семейное общество, человеческое общество — все то, что разумеется в слове: государство? С которых пор положено, что Церковь существует для того, чтобы образовывать аскетов, наполнять монастыри и выказывать в храмах поэзию своих обрядов и процессий? Нет, все это — лишь малая часть той деятельности, которую Церковь ставит себе целью. Ей указано иное звание: *научите вся языки*. Вот ее дело. Ей предстоит образовывать на земле людей для того, чтобы люди, среди земного града и земной семьи, соделались не совсем недостойными вступить в град небесный и в небесное общение. При рождении, при браке, при смерти, — в самые главные моменты бытия человеческого, Церковь является с тремя торжественными таинствами, — а говорят, что ей нет дела до семейства! На нее возложено внушить народу уважение к закону и к властям, внушить власти уважение к свободе человеческой, — а говорят, что ей нет дела до общества!

Нет, — нравственное начало единое. Оно не может двойиться, так, чтобы одно было нравственное учение частное, другое общественное; одно — светское, другое — духовное. Единое нравственное начало объемлет все отношения — частные, домашние, политические, и Церковь, хранящая сознание своего достоинства, никогда не откажется от своего законного влияния в вопросах, относящихся и до семьи, и до гражданского общества. Итак, требуя от Церкви, чтобы ей дела не было до гражданского общества, ей придают лишь новую силу.

Говорят: государству нет дела до Церкви. Под первоначальным семейственным устройством образовалось гражданское общество и каждого начальника семьи сделало гражданином; в ту пору общество верующих не отличалось еще от семьи, от целого народа. С течением времени усовершилось устройство гражданского общества и основалось вселенское христианство, объемлющее в себе и семейства, и народы. Как сказать теперь отцу, гражданину: ты сам по себе, а Церковь сама по себе? На беду и отец, и гражданин уже давно сами себе это сказали. Отец стал равнодушен к религиозному сознанию и направлению в семейной сре-

де своей. У него нет ответа, когда жена обращается к нему с своими сомнениями, когда его ребенок в детской простоте спрашивает: что такое Бог? И отчего ты Ему не молишься? И что такое смерть, которая ко всем приходит и детей уносит? И если у отца найдется ответ, в нем слышится ребенку какая-то сказка, — а не слышится голос живой веры, той веры, за которую умереть готов человек. И вот, из ребенка выходит такой же скептик, каким был отец, или суевер, наподобие матери или ее духовника-патера. Вот как отражается в семействе разделение государства с Церковью, и на место отца вводится в дом священник, извне пришедший, в качестве духовного руководителя, владыка совести, под видом учителя. Виноваты и священники, без сомнения, — но еще виновнее сами отцы, потому что они допустили священника стать у домашнего очага на их место. Когда так, пусть не дивятся граждане и гражданские власти, если когда-нибудь возведенное ими здание рухнет и их задавит обломками. Вот куда ведет отлучение государства от сознания Церкви!

III

Когда в начале 40-х годов прусскому королю донесено было, что некоторые берлинские жители вышли из христианской Церкви, он удивился и спросил с улыбкой: к какой же церкви хотят они причислиться? Этот вопрос потерял уже нынче на западе Европы всякое значение. В то время казалось — кто выходит из христианской Церкви, точно оставляет твердую веру и висит где-то в воздухе. Нынче это уже не воздух, а твердая почва — быть без всякой религии.

Когда бы кто в средние века объявил, что он отрекается от всякой веры, его сочли бы за безумца и притом столь отвратительного и опасного, что предали бы его сожжению.

В то время не было места гражданину неверующему, но могли быть верующие, лишенные прав гражданства — бродяги, бесправные люди, коим государство отказывало в законной защите, так что им приходилось ставить себя под защиту феодального владельца, одного из тех могущественных вассалов, которые, не подчиняясь государственной власти, могли вступать в борьбу со своим феодальным владыкою.

В наше время кто решился бы объявить себя свободным от государственной власти, не платить податей, не несть воинской повинности, никого не слушать и не подчиняться никому, быть самому себе государством, — такого человека объявили бы безум-

цем, — каким считался безверный в средние века, только не предали бы его сожжению, но принудили бы его или подчиниться государству, или уходить из государства вон. Он ушел бы в другое государство, где бы также или привели бы его в послушание, или выгнали вон.

Стало быть: ныне можем мы свободно уклониться от религии и от Церкви, но от государства уклониться не можем. Государство обеспечивает нам полноту общественной жизни, а Церковь уже не господствует над общественной жизнью так, как прежде господствовала. Наше время отличается стремлением привлечь все отношения к государственной власти; а когда бы Церковь хотя наполовину того предприняла привлечь к себе общественные отношения, она встретила бы со всех сторон препятствия и противодействия.

Невзирая на всякие свободы, повсеместно провозглашаемые, мы стремимся во всем под власть государства. Мы требуем законов, мер правительства для всякого значительного проявления нашей общественной жизни; многие формально требуют сосредоточения и единообразного устройства индивидуальной жизни посредством государства. Чуть у кого жмет сапог на ноге, — слышишь крик — государство должно уступить; где двое-трое жалуются на тяготу, шлетя жалоба, просьба к правительству. В прежнее время обращались бы, может быть, к Церкви. Мысль, что вся частная жизнь должна поглощаться в общественной, а вся общественная жизнь должна сосредоточиваться в государстве и быть управляема государством, это главная движущая идея социализма, и как эта мысль при ясном или неясном представлении угнездилась даже в самых крепких умах, то и самый простой заурядный человек бессознательно чем-нибудь приобщается к социалистам.

Нельзя не признать, что изменилось и самое отношение Церкви к обществу верующих, составляющему союз церковный. Ныне и они не могли бы примириться с восстановлением старинных отношений Церкви к ее чадам, со вмешательством ее в частную и семейную жизнь, в общественный быт и в политику и экономию общества. Государство издает ныне закон за законом: Церкви ныне не приходится не только объявлять новые догматы, но и настаивать столь же формально и строго, как прежде, на истолковании и применении своих учений.

Итак, по-видимому, бессильна стала Церковь в сравнении с возрастающим до громадных размеров могуществом государства. Однако на деле не то выходит, ибо Церковь опирается на духовные силы в народе (Риль).

IV

Самая древняя и самая известная система отношений между Церковью и государством есть система установленной или государственной церкви. Государство признает одно вероисповедание из числа всех истинным вероисповеданием и одну церковь исключительно поддерживает и покровительствует к предосуждению всех остальных церквей и вероисповеданий. Это предосуждение означает вообще, что все остальные церкви не признаются истинными или вполне истинными; но практически выражается оно в неодинаковой форме, со множеством разнообразных оттенков, и от непризнания и осуждения доходит иногда до преследования. Во всяком случае, при действии этой системы чужие вероисповедания подвергаются некоторому, более или менее значительному, умалению в чести, в праве и преимуществе, сравнительно со своим, с господствующим исповеданием. Государство не может быть представителем одних материальных интересов общества; в таком случае оно само себя лишило бы духовной силы и отрешилось бы от духовного единения с народом. Государство тем сильнее и тем более имеет значения, чем явственнее в нем обозначается представительство духовное. Только под этим условием поддерживается и укрепляется в среде народной и в гражданской жизни чувство законности, уважение к закону и доверие к государственной власти. Ни начало целостности государственной или государственного блага, государственной пользы, ни даже начало нравственное — сами по себе недостаточны к утверждению прочной связи между народом и государственной властью; и нравственное начало неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда отрешается от религиозной санкции. Этой центральной, собирательной силы без сомнения лишено будет такое государство, которое, во имя беспристрастного отношения ко всем верованиям, само отрекается от всякого верования — какого бы то ни было. Доверие массы народа к правителям основано на вере, т. е. не только на единоверии народа с правительством, но и на простой уверенности в том, что правительство имеет веру и по вере действует. Поэтому даже язычники и магометане больше имеют доверия и уважения к такому правительству, которое стоит на твердых началах верования — какого бы то ни было, нежели к правительству, которое не признает своей веры и ко всем верованиям относится одинаково.

Таково неоспоримое преимущество этой системы. Но с течением веков изменились обстоятельства, при коих эта система получила свое начало и возникли новые обстоятельства, при коих

ее действие стало затруднительнее прежнего. В ту пору, когда заложены были первые основания европейской цивилизации и политики, христианское государство было крепко цельным и неразрывным союзом с единою христианскою Церковью. Потом в среде самой христианской Церкви первоначальное единство разбилось на многообразные толки и разноверия, из коих каждое стало присваивать себе значение единого истинного учения и единой истинной Церкви. Таким образом, государству пришлось иметь перед собою несколько разноверных учений, между которыми распределилась по времени масса народная. С нарушением единства и цельности в веровании может настать такая пора, когда господствующая Церковь, поддерживаемая государством, оказывается церковью незначительного меньшинства, и сама ослабевает в сочувствии или вовсе лишается сочувствия массы народной. Тогда могут наступить важные затруднения в определении отношений между государством и его Церковью и церквями, к коим принадлежит народное большинство.

V

С конца XVIII столетия начинается на Западе Европы поворот от старой системы к системе *уравнения* христианских исповеданий в государстве, с устранением однако от этого равенства сектантов и евреев. Государство признает христианство за существенное основание бытия своего и общественного благоустройства, и принадлежность к той или другой церкви, к тому или иному *верованию* — обязательно для каждого гражданина.

С 1848 года изменяется существенно это отношение государства к Церкви: нахлынувшие волны либерализма прорывают старую плотину и угрожают ниспровергнуть древние основы христианской государственности. Провозглашается — освобождение государства от Церкви — до Церкви ему дела нет. Провозглашается и отрешение Церкви от государства: всякий волен верить как угодно или — ни во что не верить. Символом этой доктрины служат *основные начала* (Grundrechte), провозглашенные Франкфуртским Парламентом 1848/9 года. Хотя они и перестали вскоре считаться действующим законодательством, но послужили и служат доньше идеалом для проведения либеральных начал в новейшие законодательства Западной Европы. Сообразно с ними образуется оно ныне повсюду. Политические и гражданские права отрешаются от верования и от принадлежности к той или иной церкви и секте. Государство никого не спрашивает

о вере. От Церкви отрешается и заключение брака, и ведение актов гражданского состояния. Провозглашается полная свобода смешанных браков, а церковное начало неразрывности брака нарушается облегчением развода, отрешенного от судов церковных.

Ввиду всех этих изменений — достигающих в нынешней официальной Франции до отрицания веры и до насилия над церковным верованием, позволительно спросить: можно ли новейшее государство признать государством христианским? Но здесь открывается та же непоследовательность, какую видим в отдельном лице, когда оно, отрекшись от христианства, в то же время ведет жизнь, в которой отражаются все христианские начала. Подобно тому видим, что и новейшее государство — отрекаясь от органического союза с христианскою Церковью, не может обойтись без форм и обрядов, предполагающих христианское верование. Церкви со своими служителями получают содержание из государственного бюджета, общественные учреждения, военные полки снабжаются духовными наставниками, христианские праздники удерживают значение праздников гражданских; в службе государственной, в судах присяга сохраняет свою обязательную силу. В Германии нет уже государственной Церкви, однако главе государственной власти принадлежит верховенство (*Kirchenhoheit*) в церкви Евангелической, и государству в парламенте и во всех делах общественных приходится считаться с партиями того или иного вероисповедания. В Англии, при уравнивании вероисповеданий на либеральных началах, не только король, но и важнейшие государственные сановники должны обязательно принадлежать к Англиканской церкви. Североамериканский союз есть страна религиозного равенства. Ко всякой отдельной церкви, ко всякому религиозному обществу государство относится не иначе как к частной корпорации. В школах, заведываемых государством, не допускается обучение закону Божию и обязательное чтение Библии. И при всем том конгресс открывает свои заседания молитвою, при участии духовного лица. Духовные лица содержатся государством при армии и флоте. Президент объявляет от времени до времени установленные дни благодарственные и покаянные. В некоторых штатах установлены строгие наказания за божбу и богохуление.

Не следует ли из этого, что государство безверное есть не что иное, как утопия, невозможная к осуществлению, ибо безверие есть прямое отрицание государства. Религия, и именно христианство, есть духовная основа всякого права в государственном и гражданском быту и всякой истинной культуры. Вот почему мы

видим, что политические партии, самые враждебные общественному порядку, партии, радикально отрицающие государство, провозглашают впереди всего, что религия есть одно лишь личное, частное дело, один лишь личный и частный интерес.

VI

Система «свободной церкви в свободном государстве» основана, покуда, на отвлеченных началах, теоретически; в основание ее положено не начало веры, а начало религиозного индифферентизма, или равнодушия к вере, и она оставлена в необходимую связь с учениями, проповедующими нередко не терпимость и уважение к вере, но явное или подразумеваемое пренебрежение к вере, как к пройденному моменту психического развития в жизни личной и национальной. В отвлеченном построении этой системы, составляющей плод новейшего рационализма, Церковь представляется тоже отвлеченно построенным политическим учреждением, с известной целью, или частным обществом для известной цели устроенным, подобно другим, признанным в государстве, корпорациям. Сознание этой самой цели представляется тоже отвлеченным, ибо на нем отражаются многообразные оттенки связанных с тем или другим учением представлений о вере, начиная с отвлеченного уважения к вере как к высшему моменту психической жизни до фанатического презрения к верованию, как к низшему моменту и к началу вреда и разложения. Таким образом, в самом построении этой системы с первого взгляда оказывается двойственность и неясность основных начал и представлений.

Что может выйти из этой системы на практике — это выяснится опытом веков и поколений. Покуда мы имеем перед собою опыт — почти ничтожный, если сравнить его с опытом многих веков, в течение коих первая система действовала и действует. Но нетрудно предвидеть заранее, что действие новой системы не может быть последовательно, так как она не согласуется с первыми потребностями и условиями человеческой природы, как бы категорически ни выводилось отвлеченным учением правило: «все церкви и все верования равны; все равно, что одна вера, что другая», — с этим положением, в действительности, для себя лично, не может согласиться безусловно ни одна душа, хранящая в глубине своей и испытывающая потребность веры. Такая душа непременно ответит себе: «Да, все веры равны, но моя вера для меня лучше всех». Положим, что сегодня провозглашено будет в государстве самое строгое и точное уравнение всех цер-

квей и верований перед законом. Завтра же окажутся признаки, по которым можно будет заключить, что относительная сила верований совсем не равная; пройдет 30, 50 лет, обнаружится на самом деле, может быть, слишком неожиданно для отвлеченного представления, что в числе церквей есть одна, которая в сущности пользуется преобладающим влиянием и господствует над умами и решениями, — или потому, что она ближе к церковной истине, или потому, что учением или обрядами более соответственна с народным характером, или потому, что организация ее и дисциплина совершеннее и дает ей более способов к систематической деятельности, или потому, что в среде ее возникло более живых и твердых верою деятелей. Примеров этому есть уже немало. Великобританским законодательством установлено уравнение церквей в Ирландии. Но разве из этого следует, что церкви равны? В сущности, римско-католическая церковь, именно с минуты законного уравнения, получила полную возможность распространять и утверждать во всей стране свое преобладающее влияние не только на отдельные умы, но на все политические учреждения в стране — на суды, на администрацию, на школы.

Северо-американский Союз поставил основным условием своего устройства — не иметь никакого дела до веры. Последствием такого юридического состояния выходит на деле, что преобладающею церковью в Соединенных Штатах становится мало-помалу римское католичество. В Северной Америке пользуется оно такую свободою преобладания, какой не имеет ни в одном европейском государстве. Не стесняясь никаким отношением к государству, не подвергаясь никакому контролю, папа распределяет в Северной Америке епархии, назначает епископов, основывает во множестве духовные ордена и монастыри, окидывает всю территорию мало-помалу частую сетью церковных агентов и учреждений. Захватывая под свое влияние массы католиков, ежегодно увеличивающиеся с прибытием новых эмигрантов, папство считает уже ныне своею — целую четверть всего населения, ввиду отдельных трех четвертей разбитых на множество сект и толков. Католическая церковь, пользуясь всеми средствами обходить закон, умножила свои недвижимые имущества до громадных размеров. В ее руках и под ее влиянием состоят уже во многих штатах целые управления политического свойства. В иных больших городах все городское управление зависит исключительно от католиков. Католическая церковь располагает миллионами голосов в таком государстве, где от счета голосов зависит все направление внешней и внутренней политики. Ко всем

этим явлениям государство относится покуда равнодушно, с высоты своего принципа уравнивания церквей и религиозного равнодушия. Но последующие события покажут, долго ли может устоять и в Северо-Американском Союзе новая, излюбленная теория.

Защитники ее говорят еще покуда: что за дело государству до неравенств, возникающих не в силу привилегий или законных ограничений, а вследствие внутренней силы или внутреннего бессилия каждой корпорации? Закон не может предупредить такого неравенства.

Но это значит обходить затруднение, разрешая его лишь в теории. На бумаге возможно все примирить, все привести в стройную систему. На бумаге можно отличить определенную чертою и разграничить область политической деятельности от духовно-нравственной. На самом деле не то. Людей невозможно считать только умственными машинами, располагая ими так, как располагает полководец массами солдат, когда составляет план батальи. Всякий человек вмещает в себе мир духовно-нравственной жизни; из этого мира выходят побуждения, определяющие его деятельность во всех сферах жизни, а главное, центральное из побуждений проистекает от веры, от убеждения в истине. Только теория, отрешенная от жизни, или не хотящая знать ее, может удовольствоваться ироническим вопросом: *что есть истина?* У всех и у каждого вопрос этот стоит в душе основным, серьезнейшим вопросом *целой* жизни, требуя *не отрицательно*, а *положительного* ответа.

Итак, *свободное государство* может положить, что ему нет дела до *свободной церкви*; только свободная церковь, если она подлинно основана на веровании, не примет этого положения и не станет в равнодушное отношение к *свободному государству*. Церковь не может отказаться от своего влияния на жизнь гражданскую и общественную; и чем она деятельнее, чем более ощущает в себе внутренней, действительной силы, тем менее возможно для нее равнодушное отношение к государству. Такого отношения Церковь не примет, если вместе с тем не отречется от своего божественного призвания, если хранит веру в него и сознание долга, с ним связанного. На Церкви лежит долг учительства и наставления, Церкви принадлежит совершение таинств и обрядов, из коих некоторые соединяются с важнейшими актами в гражданской жизни. В этой своей деятельности Церковь, по необходимости, беспрестанно входит в соприкосновение с общественною и гражданскою жизнью (не говоря о других случаях,

достаточно указать на вопросы брака и воспитания). Итак, в той мере, как государство, отделяя себя от Церкви, предоставляет своему ведению исключительно гражданскую часть всех таких дел и устраняет от себя ведение духовно-нравственной их части, Церковь по необходимости вступит в отправление, покинутое государством, и, в отделении от него, завладеет мало-помалу вполне и исключительно тем духовно-нравственным влиянием, которое и для государства составляет необходимую, действительную силу. За государством останется только сила материальная и, может быть, еще рассудочная, но и той и другой недостаточно, когда с ними не соединяется сила веры. Итак, мало-помалу, вместо воображаемого уравнивания отправлений государства и Церкви в политическом союзе, окажется неравенство и противоположение. Состояние, во всяком случае, ненормальное, которое должно привести или к действительному преобладанию Церкви над преобладающим, по-видимому, государством, или к революции.

Вот какие действительные опасности скрывает в себе прославляемая либералами-теоретиками система решительного отделения Церкви от государства. Система господствующей или установленной церкви имеет много недостатков, соединена со множеством неудобств и затруднений, не исключает возможности столкновений и борьбы. Но напрасно полагают, что она отжила уже свое время и что формула Кавура одна дает ключ к разрешению всех трудностей труднейшего из вопросов. Формула Кавура³ есть плод политического доктринерства, которому вопросы веры представляются только политическими вопросами об уравнивании прав. В ней нет глубины духовного ведения, как не было ее в другой знаменитой политической формуле: *свободы, равенства и братства*, донныне тяготеющей над легковерными умами роковым бременем. И здесь, так же как там, страстные провозвестники свободы ошибаются, полагая *свободу в равенстве*. Или еще мало было горьких опытов к подтверждению того, что свобода не зависит от равенства и что равенство совсем не свобода? Таким же заблуждением было бы предположить, что в *уравнении* церквей и верований перед государством состоит и от уравнивания зависит самая *свобода* верования. Вся история последнего времени доказывает, что и здесь свобода и равенство не одно и то же, и что свобода совсем не зависит от равенства.

НОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ

I

Что такое *свобода*, из-за которой так волнуются умы в наше время, столько совершается безумных дел, столько говорится безумных речей и народ так бедствует? Свобода, в смысле демократическом, есть право власти политической, или, иначе сказать, право участвовать в правлении государством. Это стремление всех и каждого к участию в правлении не находит себе до сих пор верного исхода и твердых границ, но постоянно расширяется, и про него можно сказать, что сказано древним поэтом про водяную болезнь: «*crescit indulgens sibi*»⁴. Расширяя свое основание, новейшая демократия ставит ближайшею себе целью всеобщую подачу голосов — вот роковое заблуждение, одно из самых поразительных в истории человечества. Политическая власть, которой так страстно добивается демократия, раздробляется в этой форме на множество частиц, и достоянием каждого гражданина становится *бесконечно малая* доля этого права. Что он с нею сделает, куда употребит ее? В результате несомненно оказывается, что в достижении этой цели демократия оболживила свою священную формулу *свободы*, нераздельно соединенной с *равенством*. Оказывается, что с этим, по-видимому, уравновешенным распределением *свободы* между всеми и каждым соединяется полнейшее нарушение равенства или сущее *неравенство*. Каждый голос, представляя собою ничтожный фрагмент силы, сам по себе ничего не значит; относительное значение может иметь только некоторое число или группа голосов. Происходит явление, подобное тому, что бывает в собрании безыменных или акционерных обществ. Единицы сами по себе бессильны; но тот, что сумеет прибрать к себе самое большое количество этих фрагментов силы, становится господином силы, следовательно, господином правления и решителем воли. В чем же, спрашивается, действительное преимущество демократии перед другими формами правления? Повсюду, кто оказывается сильнее, тот и становится господином правления: в одном случае — счастливый и решительный генерал, в другом — монарх или администратор — с умением, ловкостью, с ясным планом действия, с непреклонною волей. При демократическом образе правления правителями становятся ловкие подбиратели голосов, с своими сторонниками, механики, искусно орудующие закулисными пружинами, которые приводят в движение кукол на арене демократических выборов. Люди этого рода выступают с

громкими речами о равенстве, но в сущности любой деспот или военный диктатор в таком же, как и они, отношении *господства* к гражданам, составляющим народ. Расширение прав на участие в выборах демократия считает прогрессом, завоеванием свободы; по демократической теории выходит, что чем большее множество людей призывается к участию в политическом праве, тем более вероятность, что *все* воспользуются этим правом в интересе общего блага для *всех*, и для утверждения всеобщей свободы. Опыт доказывает совсем противное. История свидетельствует, что самые существенные, плодотворные для народа и прочные меры и преобразования исходили — от центральной воли государственных людей или от меньшинства, просветленного высокою идеей и глубоким знанием; напротив того, с расширением выборного начала происходило принижение государственной мысли и вульгаризация мнения в массе избирателей; что расширение это — в больших государствах — или вводилось с тайными целями сосредоточения власти, или само собою приводило к диктатуре. Во Франции всеобщая подача голосов отменена была в конце прошлого столетия с прекращением террора; а после того восстанавливаема была дважды для того, чтобы утвердить на ней — самовластие двух Наполеонов. В Германии введение общей подачи голосов имело несомненною целью — утвердить центральную власть знаменитого правителя, приобретшего себе великую популярность громадными успехами своей политики... Что будет после него, одному Богу известно.

Игра в собрание голосов под знаменем демократии составляет в наше время обыкновенное явление во всех почти европейских государствах — и перед всеми, кажется, обнаружилась ложь ее; однако никто не смеет явно восстать против этой лжи. Несчастный народ несет тяготу; а газеты — глашатаи мнимого общественного мнения — заглушают вопль народный своим кликом: «велика Артемида Ефесская!» Но для непредубежденного ума ясно, что вся эта игра не что иное, как борьба и свалка партий и подтасовывание чисел и имен. Голоса, — сами по себе ничтожные единицы, — получают цену в руках ловких агентов. Ценность их реализуется разными способами, и прежде всего подкупом — в самых разнообразных видах — от мелочных подачек деньгами и вещами до раздачи прибыльных мест в акцизе, финансовом управлении и в администрации. Образуется мало-помалу целый контингент избирателей, привыкших жить продажей голосов своих или своей агентуры. Доходит до того — как, например, во Франции, — что серьезные граждане, благоразум-

ные и трудолюбивые, в громадном количестве вовсе уклоняются от выборов, чувствуя совершенную невозможность бороться с шайкою политических агентов. Наряду с подкупом пускаются в ход насилия и угрозы, организуется выборный террор, посредством коего шайка проводит насильно своего кандидата: известны бурные картины выборных митингов, на коих пускается в ход оружие, и на поле битвы остаются убитые и раненые.

Организация партий и подкуп — вот два могучие средства, которые употребляются с таким успехом для орудования массами избирателей, имеющими голос в политической жизни. Средства эти не новые. Еще Фукидид описывает резкими чертами действие этих средств в древних греческих республиках. История Римской республики представляет поистине чудовищные примеры подкупа, составлявшего обычное орудие партий при выборах. Но в наше время изобретено еще новое средство тасовать массы для политических целей и соединять множество людей в случайные союзы, возбуждая между ними мнимое согласие мнений. Это средство, которое можно приравнять к политическому передергиванию, состоит в искусстве быстрого и ловкого обобщения идей, составлении фраз и формул, бросаемых в публику с крайнею самоуверенностью горячего убеждения, как последнее слово науки, как догмат политического учения, как характеристику событий, лиц и учреждений. Считалось некогда, что умнее анализировать факты и выводить из них общее начало — свойственно немногим просвещенным умам и высоким мыслителям; ныне оно считается общим достоянием, и общие фразы политического содержания, под именем убеждений, стали как бы ходячей монетой, которую фабрикуют газеты и политические ораторы.

Способность быстро схватывать и принимать на веру общие выводы, под именем убеждений, распространилась в массе, и стала заразительною, особливо между людьми недостаточно или поверхностно образованными, составляющими большинство повсюду. Этою склонностью массы пользуются с успехом политические деятели, пробивающиеся к власти: искусство делать обобщения служит для них самым подручным орудием. Всякое обобщение происходит путем *отвлечения*: из множества фактов — одни, не идущие к делу, устраняются вовсе, а другие, подходящие, группируются, и из них выводится общая формула. Очевидно, что все достоинство, т. е. правдивость и верность этой формулы, зависит от того, насколько имеют решительной важности те факты, из коих она извлечена, и насколько ничтожны те факты, кои притом устранены как неподходящие. Быстрота и

легкость, с которою делаются в наше время общие выводы, — объясняется крайнею бесцеремонностью в этом процессе подбора подходящих фактов и их обобщения. Отсюда громадный успех политических ораторов и поразительное действие на массу общих фраз, в нее бросаемых. Толпа быстро увлекается общими местами, облеченными в громкие фразы, общими выводами и положениями, не помышляя о проверке их, которая для нее недоступна; так образуется единодушие во мнениях, единодушные мнимое, призрачное, но тем не менее дающее решительные результаты. Это называется — глас народа, с прибавкою — глас Божий. Печальное и жалкое заблуждение! Легкость увлечения общими местами ведет повсюду к крайней деморализации общественной мысли, к ослаблению политического смысла целой нации. Нынешняя Франция представляет наглядный пример этого ослабления, — но тою же болезнью заражается уже и Англия...

ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

I

Что основано на лжи, не может быть право. Учреждение, основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое. Вот истина, которая оправдывается горьким опытом веков и поколений.

Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции *идея*, что всякая власть исходит от *народа* и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции — и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Она продолжает еще держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее с каждым днем изобличается все явственнее перед целым миром.

В чем состоит теория парламентаризма? Предполагается, что весь народ в народных собраниях творит себе законы, избирает должностные лица, стало быть, изъявляет непосредственно свою волю и приводит ее в действие. Это идеальное представление. Прямое осуществление его невозможно: историческое развитие общества приводит к тому, что местные союзы умножаются и усложняются, отдельные племена сливаются в целый народ или группируются в разноязычии под одним государственным знаменем; наконец, разрастается без конца государственная терри-

тория, непосредственное народоправление при таких условиях немислимо. Итак, народ должен переносить свое право властительства на некоторое число выборных людей и облекать их правительственную автономией. Эти выборные люди, в свою очередь, не могут править непосредственно, но принуждены выбирать еще меньшее число доверенных лиц, — министров, коим представляется изготвление и применение законов, раскладка и собиание податей, назначение подчиненных должностных лиц, распоряжение военною силою.

Механизм — в идее своей стройный; но, для того, чтобы он действовал, необходимы некоторые существенные условия. Машинное производство имеет в основании своем расчет на непрерывно действующие и совершенно ровные, следовательно, безличные силы. И этот механизм мог бы успешно действовать, когда бы доверенные от народа лица устранились вовсе от своей личности; когда бы на парламентских скамьях сидели механические исполнители данного им наказа; когда бы министры явились тоже безличными, механическими исполнителями воли большинства; когда бы притом представителями народа избираемы были всегда лица, способные уразуметь в точности и исполнять добросовестно данную им и математически точно выраженную программу действий. Вот, при таких условиях действительно машина работала бы исправно и достигала бы цели. Закон действительно выражал бы волю народа; управление действительно исходило бы от парламента; опорная точка государственного здания лежала бы действительно в собраниях избирателей, а каждый гражданин явно и сознательно участвовал бы в управлении общественными делами.

Такова теория. Но посмотрим на практику. В самых классических странах парламентаризма — он не удовлетворяет *ни одному* из вышешоказанных условий. Выборы никоим образом не выражают волю избирателей. Представители народные не стесняются нисколько взглядами и мнениями избирателей, но руководятся собственным произвольным усмотрением или расчетом, соображаемым с тактикою противной партии. Министры в действительности самовластны; и скорее они насилуют парламент, нежели парламент их насилует. Они вступают во власть и оставляют власть не в силу воли народной, но потому, что их ставит к власти или устраняет от нее — могущественное личное влияние или влияние сильной партии. Они располагают всеми силами и достатками нации по своему усмотрению, раздают льготы и милости, содержат множество праздных людей на счет народа, — и притом не боятся никакого порицания, если располага-

ют большинством в парламенте, а большинство поддерживают — раздачей всякой благодати с обильной трапезы, которую государство отдало им в распоряжение. В действительности министры столь же безответственны, как и народные представители. Ошибки, злоупотребления, произвольные действия — ежедневное явление в министерском управлении, а часто ли слышим мы о серьезной ответственности министра? Разве, может быть, раз в пятьдесят лет приходится слышать, что над министром суд, и всего чаще результат суда выходит ничтожный — сравнительно с шумом торжественного производства.

Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть *учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей*. Учреждение это служит не последним доказательством самообольщения ума человеческого. Испытывая в течение веков гнет самовластия в единоличном и олигархическом правлении и не замечая, что пороки единовластия суть пороки самого общества, которое живет под ним, — люди разума и науки возложили всю вину бедствия на своих властителей и на форму правления, и представили себе, что с переменою этой формы на форму народовластия или представительного правления — общество избавится от своих бедствий и от терпимого насилия. Что же вышло в результате? Вышло то, что *mutato nomine*⁵ все осталось в сущности по-прежнему, и люди, оставаясь при слабостях и пороках своей природы, перенесли в новую форму все прежние свои привычки и склонности. Как прежде, правит ими личная воля и интерес привилегированных лиц; только эта личная воля осуществляется уже не в лице монарха, а в лице предводителя партии, и привилегированное положение принадлежит не родовым аристократам, а господствующему в парламенте и правлении большинству.

На фронтоне этого здания красуется надпись: «Все для общественного блага». Но это не что иное, как самая лживая формула; парламентаризм есть торжество эгоизма, высшее его выражение. Все здесь рассчитано на служение своему *я*. По смыслу парламентской фикции, представитель отказывается в своем звании от личности и должен служить выражением воли и мысли своих избирателей; а в действительности избиратели — в самом акте избрания отказываются от всех своих прав в пользу избранного представителя. Перед выборами кандидат в своей программе и в речах своих ссылается постоянно на вышеупомянутую фикцию: он твердит все о благе общественном, он не что иное, как слуга и печальник народа, он о себе не думает и забудет себя

и свои интересы ради интереса общественного. И все это — слова, слова, одни слова, временные ступеньки лестницы, которые он строит, чтобы взойти, куда нужно, и потом сбросить ненужные ступени. Тут уже не он станет работать на общество, а общество станет орудием для его целей. Избиратели являются для него стадом — для сбора голосов, и владельцы этих стад подлинно уподобляются богатым кочевникам, для коих стадо составляет капитал, основание могущества и знатности в обществе. Так развивается, совершенствуясь, целое искусство играть инстинктами и страстями массы для того, чтобы достигнуть личных целей честолюбия и власти. Затем уже эта масса теряет всякое значение для выбранного ею представителя до тех пор, пока понадобится снова на нее действовать: тогда пускаются в ход снова льстивые и лживые фразы, — одним в угоду, в угрозу другим: длинная, нескончаемая цепь однородных маневров, образующая механику парламентаризма. И такая-то комедия выборов продолжает до сих пор обманывать человечество и считаться учреждением, венчающим государственное здание... Жалкое человечество! Поистине можно сказать: *mundus vult decipi — decipiatur*⁶.

Вот как практикуется выборное начало. Честолюбивый искатель сам выступает перед согражданами и старается всячески уверить их, что он, более, чем всякий иной, достоин их доверия. Из каких побуждений выступает он на это искательство? Трудно поверить, что из бескорыстного усердия к общественному благу. Вообще, в наше время редки люди, проникнутые чувством солидарности с народом, готовые на труд и самопожертвование для общего блага; это натуры идеальные; а такие натуры не склонны к соприкосновению с пошлостью житейского быта. Кто по натуре своей способен к бескорыстному служению общественной пользе в сознании долга, тот не пойдет заискивать голоса, не станет воспевать хвалу себе на выборных собраниях, нанизывая громкие и пошлые фразы. Такой человек раскрывает себя и силы свои в рабочем углу своем или в тесном кругу единомышленных людей, но не пойдет искать популярности на шумном рынке. Такие люди, если идут в толпу людскую, то не затем, чтобы льстить ей и подлаживаться под пошлые ее влечения и инстинкты, а разве затем, чтобы обличать пороки людского быта и ложь людских обычаев. Лучшим людям, людям долга и чести, противна выборная процедура: от нее не отвращаются лишь своекорыстные, эгоистические натуры, желающие достигнуть личных своих целей. Такому человеку не стоит труда надеть на себя маску стремления к общественному благу, лишь бы приобрести популярность. Он не может и не должен быть скромным, — ибо при

скромности его не заметят, не станут говорить о нем. Своим положением и тою ролью, которую берет на себя, — он *вынуждается* — лицемерить и лгать с людьми, которые противны ему, он поневоле должен сходиться, брататься, любезничать, чтобы приобрести их расположение, — должен раздавать обещания, зная, что потом не выполнит их, должен подлаживаться под самые пошлые наклонности и предрассудки массы, для того чтоб иметь большинство за себя. Какая честная натура решится принять на себя такую роль? Изобразите ее в романе: читателю противно станет; но тот же читатель отдаст свой голос на выборах живому артисту в той же самой роли.

Выборы — дело искусства, имеющего, подобно военному искусству, свою стратегию и тактику. Кандидат не состоит в прямом отношении к своим избирателям. Между ним и избирателями посредствует *комитет*, самочинное учреждение, коего главную силу служит — *нахальство*. Искатель представительства, если не имеет еще сам по себе известного имени, начинает с того, что подбирает себе кружок приятелей и споспешников; затем все вместе производят около себя ловлю, то есть приискивают в местной аристократии богатых и не крепких разумом обывателей и успевают уверить их, что это их дело, их право и преимущество стать во главе — руководителями общественного мнения. Всегда находится достаточно глупых или наивных людей, поддающихся на эту удочку, — и вот, за подписью их, появляется в газетах и наклеивается на столбах объявление, привлекающее массу, всегда падкую на следование за именами, титулами и капиталами. Вот каким путем образуется комитет, руководящий и овладевающий выборами — это своего рода компания на акциях, вызванная к жизни учредителями. Состав комитета подбирается с обдуманном искусством: в нем одни служат действующею силой — люди энергические, преследующие во что бы то ни стало — материальную или тенденциозную цель; другие — наивные и легкомысленные статисты — составляют балласт. Организуются собрания, произносятся речи: здесь тот, кто обладает крепким голосом и умеет быстро и ловко нанизывать фразы, производит всегда впечатление на массу, получает известность, нарождается кандидатом для будущих выборов или, при благоприятных условиях, сам становится кандидатом, стелкивая того, за кого пришел вначале работать языком своим. Фраза — и не что иное, как фраза — господствует в этих собраниях. Толпа слушает лишь того, кто громче кричит и искуснее подделывается пошлостью и лестью под ходячие в массе понятия и наклонности.

В день окончательного выбора лишь немногие подают голоса свои сознательно: это отдельные влиятельные избиратели, коих стоило уговаривать поодиночке. Большинство, т. е. масса избирателей, дает свой голос стадным обычаем, за одного из кандидатов, выставленных комитетом. На билетах пишется то имя, которое всего громче натвержено и звенело в ушах у всех в последнее время. Никто почти не знает человека, не дает себе отчета ни о характере его, ни о способностях, ни о направлении: выбирают потому, что много слышаны об его имени. Напрасно было бы вступать в борьбу с этим стадным порывом. Положим, какой-нибудь добросовестный избиратель пожелал бы действовать сознательно в таком важном деле, не захотел бы подчиниться насильственному давлению комитета. Ему остается — или уклониться вовсе в день выбора, или подать голос за своего кандидата по своему разумению. Как бы ни поступил он, — все-таки выбран будет тот, кого провозгласила масса легкомысленных, равнодушных или уговоренных избирателей.

По теории, избранный должен быть излюбленным человеком большинства, а на самом деле избирается излюбленный меньшинства, иногда очень скудного, только это меньшинство представляет организованную силу, тогда как большинство, как песок, ничем не связано, и потому бессильно перед кружком или партией. Выбор должен бы падать на разумного и способного, а в действительности падает на того, кто нахальнее суется вперед. Казалось бы, для кандидата существенно требуется — образование, опытность, добросовестность в работе: а в действительности все эти качества могут быть и не быть: они не требуются в избирательной борьбе, тут важнее всего — смелость, самоуверенность в соединении с ораторством и даже с некоторою пошлостью, нередко действующею на массу. Скромность, соединенная с тонкостью чувства и мысли, — для этого никуда не годится.

Так нарождается народный представитель, так приобретает его полномочие. Как он употребляет его, как им пользуется? Если натура у него энергическая, он захочет действовать и принимается образовывать партию; если он заурядной природы, то сам примыкает к той или другой партии. Для предводителя партии требуется прежде всего сильная воля. Это свойство органическое, подобно физической силе, и потому не предполагает непременно нравственные качества. При крайней ограниченности ума, при безграничном развитии эгоизма и самой злобы, при низости и бесчестности побуждений, человек с сильной волей может стать предводителем партии и становится тогда руководящим, господственным главою кружка или собрания, хотя бы

к нему принадлежали люди, далеко превосходящие его умственными и нравственными качествами. Вот какова, по свойству своему, бывает руководящая сила в парламенте. К ней присоединяется еще другая решительная сила — красноречие. Это — тоже натуральная способность, не предполагающая ни нравственного характера, ни высокого духовного развития. Можно быть глубоким мыслителем, поэтом, искусным полководцем, тонким юристом, опытным законодателем — и в то же время быть лишеным действенного слова; и наоборот: можно, при самых заурядных умственных способностях и знаниях, обладать особливый даром красноречия. Соединение этого дара с полнотою духовных сил — есть редкое и исключительное явление в парламентской жизни. Самые блестящие импровизации, прославившие ораторов и соединенные с важными решениями, кажутся бледными и жалкими в чтении, подобно описанию сцен, разграниченных в прежнее время знаменитыми актерами и певцами. Опыт свидетельствует непрерываемо, что в больших собраниях решительное действие принадлежит не разумному, но бойкому и блестящему слову, что всего действительнее на массу — не ясные, стройные аргументы, глубоко коренящиеся в существе дела, но громкие слова и фразы, искусно подобранные, усиленно натверженные и рассчитанные на инстинкты гладкой пошлости, всегда таящиеся в массе. Масса легко увлекается пустым вдохновением декламации и, под влиянием порыва, часто бессознательного, способна приходиться к внезапным решениям, о коих приходится сожалеть при хладнокровном обсуждении дела.

Итак, когда предводитель партии с сильною волей соединяет еще и дар красноречия, — он выступает в своей первой роли на открытую сцену перед целым светом. Если же у него нет этого дара, он стоит, подобно режиссеру, за кулисами и направляет оттуда весь ход парламентского представления, распределяя роли, выпуская ораторов, которые *говорят* за него, употребляя в дело по усмотрению — более тонкие, но нерешительные умы своей партии: — они за него *думают*.

Что такое парламентская партия? По теории, — это союз людей, одинаково мыслящих и соединяющих свои силы для совокупного осуществления своих воззрений в законодательстве и в направлении государственной жизни. Но таковы бывают разве только мелкие кружки: большая, значительная в парламенте партия образуется лишь под влиянием личного честолюбия, группируясь около одного господствующего лица. Люди по природе делятся на две категории: одни — не терпят над собою никакой власти и потому необходимо стремятся господствовать сами;

другие, по характеру своему страшась нести на себе ответственность, соединенную со всяким решительным действием, уклоняются от всякого решительного акта воли: эти последние как бы рождены для подчинения и составляют из себя стадо, следующее за людьми воли и решения, составляющими меньшинство. Таким образом, люди самые талантливые подчиняются охотно, с радостью складывая в чужие руки направление своих действий и нравственную ответственность. Они как бы инстинктивно «ищут вождя» и становятся послушными его орудиями, сохраняя уверенность, что он ведет их к победе — и, нередко, к добыче. — Итак, все существенные действия парламентаризма отправляются вождями партий: они ставят решения, они ведут борьбу и празднуют победу. Публичные заседания суть не что иное, как представление для публики. Произносятся речи для того, чтобы поддержать фикцию парламентаризма: редкая речь вызывает, сама по себе, парламентское решение в важном деле. Речи служат к прославлению ораторов, к возвышению популярности, к составлению карьеры, — но в редких случаях решают подбор голосов. Каково должно быть большинство, — это решается обыкновенно вне заседания.

Таков сложный механизм парламентского лицедейства, таков образ великой политической лжи, господствующей в наше время. По теории парламентаризма, должно господствовать разумное большинство; на практике господствуют пять-шесть предводителей партии; они, сменяясь, овладевают властью. По теории, убеждение утверждается ясными доводами во время парламентских дебатов; на практике — оно не зависит несколько от дебатов, но направляется волею предводителей и соображениями личного интереса. По теории, народные представители имеют в виду единственно народное благо; на практике — они, под предлогом народного блага и на счет его, имеют в виду преимущественно личное благо свое и друзей своих. По теории — они должны быть из лучших, излюбленных граждан; на практике — это наиболее честолюбивые и нахальные граждане. По теории — избиратель подает голос за своего кандидата потому, что знает его и доверяет ему; на практике — избиратель дает голос за человека, которого по большей части совсем не знает, но о котором натвержено ему речами и криками заинтересованной партии. По теории, делами в парламенте управляют и двигают опытный разум и бескорыстное чувство; на практике, главные движущие силы здесь — решительная воля, эгоизм и красноречие.

Вот каково в сущности это учреждение, выставляемое целью и венцом государственного устройства. Больно и горько думать,

что в земле Русской были и есть люди, мечтающие о водворении этой лжи у нас; что профессора наши еще проповедуют своим юным слушателям о представительном правлении как об идеале государственного учреждения; что наши газеты и журналы твердят об нем в передовых статьях и фельетонах, под знаменем правового порядка; твердят — не давая себе труда взглянуться ближе, без предубеждения, в действие парламентской машины. Но уже и там, где она издавна действует, — ослабевает вера в нее; еще славит ее либеральная интеллигенция, но народ стонет под гнетом этой машины и распознает скрытую в ней ложь. Едва ли дождемся мы, — но дети наши и внуки несомненно дождутся свержения этого идола, которому современный разум продолжает еще в самообольщении поклоняться...

II

Много зла наделали человечеству философы школы Ж.-Ж. Руссо. Философия эта завладела умами, а между тем вся она построена на одном ложном представлении о совершенстве человеческой природы и о полнейшей способности всех и каждого уразуметь и осуществить те начала общественного устройства, которые эта философия проповедовала.

На том же ложном основании стоит и господствующее ныне учение о совершенствах демократии и демократического правления. Эти совершенства предполагают — совершенную способность массы уразуметь тонкие черты политического учения, явственно и раздельно присущие сознанию его проповедников. Эта ясность сознания доступна лишь немногим умам, составляющим аристократию интеллигенции; а масса, как всегда и повсюду, состояла и состоит из толпы, «vulgus», и ее представления по необходимости будут «вульгарные».

Демократическая форма правления самая сложная и самая затруднительная из всех известных в истории человечества. Вот причина — почему эта форма повсюду была преходящим явлением и, за немногими исключениями, нигде не держалась долго, уступая место другим формам. И неудивительно. Государственная власть призвана действовать и распоряжаться; действия ее суть проявления единой воли, — без этого немислимо никакое правительство. Но в каком смысле множество людей или собрание народное может проявлять единую волю? Демократическая фразеология не останавливается на решении этого вопроса, отвечая на него известными фразами и поговорками вроде

таких, например: «воля народная», «общественное мнение», «верховное решение нации», «глас народа — глас Божий» и т. п. Все эти фразы, конечно, должны означать, что великое множество людей по великому множеству вопросов может придти к одинаковому заключению и постановить сообразно с ним одинаковое решение. Пожалуй, это и бывает возможно, но лишь по самым простым вопросам. Но когда с вопросом соединено хотя малейшее усложнение, решение его в многочисленном собрании возможно лишь при посредстве людей, способных обсудить его во всей сложности и затем убедить массу к принятию решения. К числу самых сложных принадлежат, например, политические вопросы, требующие крайнего напряжения умственных сил у самых способных и опытных мужей государственных: в таких вопросах, очевидно, нет ни малейшей возможности рассчитывать на объединение мысли и воли в многочисленном народном собрании: решения массы в таких вопросах могут быть только губительные для государства. Энтузиасты демократии уверяют себя, что народ может проявлять свою волю в делах государственных: это пустая теория, — на деле же мы видим, что народное собрание способно только принимать — по увлечению — мнение, выраженное одним человеком или некоторым числом людей; например, мнение известного предводителя партии, известного местного деятеля, или организованной ассоциации, или, наконец, — безразличное мнение того или другого влиятельного органа печати. Таким образом, процедура решения превращается в игру, совершающуюся на громадной арене множества голов и голосов; чем их более принимается в счет, тем более эта игра запутывается, тем более зависит от случайных и беспорядочных побуждений.

К избежанию и обходу всех этих затруднений изобретено средство — править посредством *представительства* — средство, организованное прежде всего и оправдавшее себя успехом в Англии. Отсюда, по установившейся моде, перешло оно и в другие страны Европы, но привилось с успехом, по прямому преданию и праву, лишь в Американских Соединенных Штатах. Однако и на родине своей, в Англии, представительные учреждения вступают в критическую эпоху своей истории. Самая сущность идеи этого представительства подверглась уже здесь изменению, извращающему первоначальное его значение. Дело в том, что с самого начала собрание избирателей, тесно ограниченное, присылало от себя в парламент известное число лиц, долженствовавших представлять мнение страны в собрании, но не связанных никакою определенной инструкцией от массы своих избирате-

лей. Предполагалось, что избраны люди, понимающие истинные нужды страны своей и способные дать верное направление государственной политике. Задача разрешалась просто и ясно: требовалось уменьшить до возможного предела трудность народного правления, ограничив малым числом способных людей — собрание, призванное к решению государственных вопросов. Люди эти являлись в качестве свободных представителей народа, а не того или другого мнения, той или другой партии, не связанные никакою инструкцией. Но, с течением времени, мало-помалу эта система изменилась, под влиянием того же рокового предрассудка о великом значении общественного мнения, просвещаемого, будто бы, периодическою печатью и дающего массе народной способность иметь прямое участие в решении политических вопросов. Понятие о представительстве совершенно изменило свой вид, превратившись в понятие о *мандате*, или определенном поручении. В этом смысле каждый избранный в той или другой местности почитается уже представителем *мнения*, в той местности господствующего, или партии, под знаменем этого мнения одержавшей победу на выборах, — это уже не представитель страны или народа, но *делегат*, связанный инструкцией от своей партии. Это изменение в самом существе идеи представительства послужило началом язвы, разъедающей всю систему представительного правления. Выборы, с раздроблением партий, приняли характер личной борьбы местных интересов и мнений, отрешенной от основной идеи о пользе государственной. При крайнем умножении числа членов собрания большинство их, помимо интереса борьбы и партии, заражается равнодушием к общественному делу и теряет привычку присутствовать во всех заседаниях и участвовать непосредственно в обсуждении всех дел. Таким образом, дело законодательства и общего направления политики, самое важное для государства, — превращается в игру, состоящую из условных формальностей, сделок и фикций. Система представительства сама себя оболживила на деле.

Эти плачевные результаты всего явственнее обнаруживаются там, где население государственной территории не имеет цельного состава, но заключает в себе разнородные национальности. Национализм в наше время можно назвать пробным камнем, на котором обнаруживается лживость и непрактичность парламентского правления. Примечательно, что начало национальности выступило вперед и стало движущею и раздражающею силою в ходе событий именно с того времени, как пришло в соприкосновение с новейшими формами демократии. Довольно трудно определить существо этой новой силы и тех целей, к каким она

стремится; но несомненно, что в ней — источник великой и сложной борьбы, которая предстоит еще в истории человечества, и неведомо, к какому приведет исходу. Мы видим теперь, что каждым отдельным племенем, принадлежащим к составу разноплеменного государства, овладевает страстное чувство нетерпимости к государственному учреждению, соединяющему его в общий строй с другими племенами, и желание иметь свое самостоятельное управление, со своею, нередко мнимою, культурой. И это происходит не с теми только племенами, которые имели свою историю и, в прошедшем своем, отдельную политическую жизнь и культуру, — но и с теми, которые никогда не жили особою политическою жизнью. Монархия неограниченная успевала устранять или примирять все подобные требования и порывы, — и не одною только силой, но и уравнением прав и отношений под одною властью. Но демократия не может с ними справиться, и инстинкты национализма служат для нее разъедающим элементом: каждое племя из своей местности высылает представителей — не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти — и к господствующему племени, и к другим племенам, и к связующему все части государства учреждению. Какой нестройный вид получает в подобном составе народное представительство и парламентское правление, — очевидным тому примером служит в наши дни австрийский парламент. Провидение сохранило нашу Россию от подобного бедствия, при ее разноплеменном составе. Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар — всероссийского парламента! Да не будет.

III

Величайшее зло конституционного порядка состоит в образовании министерства на парламентских или партийных началах. Каждая политическая партия одержима стремлением захватить в свои руки правительственную власть, и к ней пробирается. Глава государства уступает политической партии, составляющей большинство в парламенте; в таком случае министерство образуется из членов этой партии и, ради удержания власти, начинает борьбу с оппозицией, которая усиливается низвергнуть его и вступить на его место. Но если глава государства склоняется не к большинству, а к меньшинству, и из него избирает свое министерство, в таком случае новое правительство распускает пар-

ламент и употребляет все усилия к тому, чтобы составить себе большинство при новых выборах и с помощью его вести борьбу с оппозицией. Странники министерской партии подают голос всегда за правительство; им приходится во всяком случае стоять за него — не ради поддержания власти, не из-за внутреннего согласия в мнениях, но потому, что это правительство само держит членов своей партии во власти и во всех, сопряженных с властью преимуществах, выгодах и прибылях. Вообще — существенный мотив каждой партии — стоять за своих во что бы то ни стало или из-за взаимного интереса, или просто в силу того стадного инстинкта, который побуждает людей разделяться на дружины и лезть в бой стена на стену. Очевидно, что согласие в мнениях имеет в этом случае очень слабое значение, а забота об общественном благе служит прикрытием вовсе чуждых ему побуждений и инстинктов. И это называется идеалом парламентского правления. Люди обманывают себя, думая, что оно служит обеспечением свободы. Вместо неограниченной власти монарха мы получаем неограниченную власть парламента, с тою разницей, что в лице монарха можно представить себе единство разумной воли; а в парламенте нет его, ибо здесь все зависит от случайности, так как воля парламента определяется большинством; но как скоро при большинстве, составляемом под влиянием игры в партию, есть меньшинство, воля большинства не есть уже воля целого парламента: тем еще менее можно признать ее волею народа, здоровая масса коего не принимает никакого участия в игре партий и даже уклоняется от нее. Напротив того, именно нездоровая часть населения мало-помалу вводится в эту игру и ею развращается; ибо главный мотив этой игры есть стремление к власти и к наживе. Политическая свобода становится фикцией, поддерживаемою на бумаге параграфами и фразами конституции; начало монархической власти совсем пропадает; торжествует либеральная демократия, водворяя беспорядок и насилие в обществе вместе с началами безверия и материализма, провозглашая свободу, равенство и братство — там, где нет уже места ни свободе, ни равенству. Такое состояние ведет неотразимо к анархии, от которой общество спасается одною лишь диктатурой, т. е. восстановлением единой воли и единой власти в правлении.

Первый образец народного представительного правления явила новейшей Европе Англия. С половины прошлого столетия французские философы стали прославлять английские учреждения и выставлять их примером для всеобщего подражания. Но в ту пору не столько политическая свобода привлекала французские

умы, сколько привлекали начала религиозной терпимости, или, лучше сказать, начала безверия, бывшие тогда в моде в Англии и пущенные в обращение английскими философами того времени. Вслед за Францией, которая давала тон и нравам, и литературе во всей западной интеллигенции, мода на английские учреждения распространилась по всему Европейскому матерiku. Между тем произошли два великие события, из коих одно утверждало эту веру, а другое — чуть было совсем не поколебало ее. Возникла республика Американских Соединенных Штатов, и ее учреждения, скопированные с английских (кроме королевской власти и аристократии), принялись на новой почве прочно и плодотворно. Это произвело восторг в умах, и прежде всего во Франции. С другой стороны — явилась Французская республика, и скоро явила миру все гнусности, беспорядки и насилия революционного правительства. Повсюду произошел взрыв негодования и отвращения против французских и, стало быть, вообще против демократических учреждений. Ненависть к революции отразилась даже на внутренней политике самого британского правительства. Чувство это начало ослабевать к 1815 году, под влиянием политических событий того времени — в умах проснулось желание, с свежую надеждой, соединить политическую свободу с гражданским порядком в формах, подходящих к английской конституции: вошла в моду опять политическая англomanия. Затем последовал ряд попыток осуществить британский идеал, сначала во Франции, потом в Испании и Португалии, потом в Голландии и Бельгии, наконец, в последнее время, в Германии, в Италии и в Австрии. Слабый отголосок этого движения отразился и у нас в 1825 году⁷, в безумной попытке аристократов-мечтателей, не знавших ни своего народа, ни своей истории.

Любопытно проследить историю новых демократических учреждений: долговечны ли оказались они, каждое на своей почве, в сравнении с монархическими учреждениями, коих продолжение история считает рядом столетий.

Во Франции со времени введения политической свободы правительство, во всей силе государственной своей власти, было *три раза* ниспровергнуто парижскою уличною толпою: в 1792 г., в 1830 и в 1848 году. *Три раза* было ниспровергнуто армией или военной силой: в 1797 году 4 сентября (18 Фруктидора), когда большинством членов директории, при содействии военной силы, были уничтожены выборы, состоявшиеся в 48 департаментах, и отправлены в ссылку 56 членов законодательных собраний. В другой раз, в 1797 году 9 ноября (18 Брюмера) правительство ниспровергнуто Бонапартом, и наконец в 1851 г., 2 декабря,

другим Бонапартом, младшим. Три раза правительство было ниспровергнуто внешним нашествием неприятеля: в 1814, в 1815 и в 1870. В общем счете, с начала своих политических экспериментов по 1870 год, Франция имела 44 года свободы и 37 годов сурового диктаторства. Притом еще стоит заметить странное явление: монархи старшей Бурбонской линии, оставляя много места действию политической свободы, никогда не опирались на чистые начала новейшей демократии; напротив того, оба Наполеона, провозгласив безусловно эти начала, управляли Францией деспотически.

В Испании народное правление провозглашено было в эпоху окончательного падения Наполеона. Чрезвычайное собрание кортесов утвердило в Кадиксе конституцию, провозгласив в первой статье оной, что верховенство власти принадлежит нации. Фердинанд VII, вступив в Испанию через Францию, отменил эту конституцию и стал править самовластно. Через 6 лет генерал Риего во главе военного восстания принудил короля восстановить конституцию. В 1823 году французская армия, под внушением Священного союза⁸, вступила в Испанию и восстановила Фердинанда в самовластии. Вдова его, в качестве регентши, для охранения прав дочери своей Изабеллы против Дон-Карлоса, вновь приняла конституцию. Затем начинается для Испании последовательный ряд мятежей и восстаний, изредка прерываемых краткими промежутками относительного спокойствия. Достаточно указать, что с 1816 года до вступления на престол Альфонса было в Испании до 40 серьезных военных восстаний с участием народной толпы. Говоря об Испании, нельзя не упомянуть о том чудовищном и поучительном зрелище, которое представляют многочисленные республики Южной Америки, республики испанского происхождения и испанских нравов. Вся их история представляет непрестанную смену ожесточенной резни между народной толпой и войсками, — прерываемую правлением деспотов, напоминающих Коммода или Калигулу. Довольно привести в пример хотя Боливию, где из числа 14 президентов республики тринадцать кончили свое правление насильственной смертью или ссылкой.

Начало народного или представительного правления в Германии и в Австрии не ранее 1848 года. Правда, начиная с 1815 года, поднимается глухой ропот молодой интеллигенции на германских владетельных князьях за неисполнение обещаний, данных народу в эпоху великой войны за освобождение. За немногими мелкими исключениями, в Германии не было представительных учреждений до 1847 года, когда прусский король учредил у себя

особенную форму конституционного правления; однако оно не простояло и одного года. Но стоило только напору парижской уличной толпы сломить французскую хартию и низложить конституционного короля, как поднялось и в Германии уличное движение, с участием войск. В Берлине, в Вене, во Франкфурте устроились национальные собрания по французскому шаблону. Едва прошел год, как правительство разогнало их военной силой. Новейшие германские и австрийские конституции все исходят от монархической власти и еще ждут суда своего от истории.

СУД ПРИСЯЖНЫХ

Вот, что говорит знаменитый английский писатель, глубокий знаток истории (С. Ч. Мэн), о суде присяжных своей родины:

«Народное правление вначале было тождественно с народным судом. Древние демократии занимались судом в гражданских и уголовных делах больше, чем делами политической администрации, и на самом деле, историческое развитие народного правосудия несравненно непрерывнее и последовательнее, чем развитие форм народного правления... Мы у себя, в Англии, имеем живой памятник и след народного суда в отправлении суда присяжных. Суд присяжных есть не что иное, как древняя, творящая суд демократия, но только поставленная в пределы, в измененных и улучшенных формах, соответственно с началами, выработанными опытом целых столетий, — согласованная с новой идеей судебного процесса. И те изменения, коим подверглось при том учреждении народного суда, в высшей степени поучительны. Вместо собрания народного — двенадцать присяжных. Все их дело состоит в том, чтобы ответить “да” или “нет” на вопросы, конечно, весьма важные, но имеющие отношение к предметам ежедневного быта. Для того, чтобы эти люди могли придти к заключению, в помощь им существует целая система приспособлений и правил, выработанная до тонкости и достигающая высшей искусственности. В исследовании дела они не предоставлены сами себе, но совершают его под председательством сведущего лица — судьи, представителя королевского правосудия; образовалась целая громадная литература руководственных правил, под условием коих предлагаются им доказательства спорных фактов, подлежащих их обсуждению. С неуклонною строгостью устраниваются от них всякие свидетельские показания, обличающие намерение склонить их в ту или другую сторону. К ним

обращаются и теперь, как бывало в старину, на народном суде, стороны или представители сторон, но для охранения беспристрастия установлено новое действие, вовсе не известное на прежнем народном суде, именно — все исследование заключается самым тщательным изложением фактов, которое произносит искусный и опытный судья, обязанный званием своим к самому строгому беспристрастию. Если он сам впадает притом в ошибку, или в ответе присяжных обличается заблуждение, — вся процедура может быть уничтожена высшим судом сведущих людей. Таков настоящий вид суда народного, выработанный целыми столетиями заботливой культуры.

Посмотрим же теперь, каков представляется народный суд в первоначальном виде, как его описывает, конечно, с натуры, древнейший греческий поэт. Открывается заседание; предлагается вопрос: виновен или невиновен. Старейшины высказывают по очереди свое мнение; а вокруг стоящее и судящее демократическое собрание заявляет рукоплесканиями свое сочувствие тому или другому мнению, — и взрывом рукоплескания определяет решение. Вот какой характер носило на себе народное правосудие в древних республиках. Производившая суд демократия просто принимала, так сказать, с бою, то мнение, которое сильнее на нее действовало в речи тяжущегося, подсудимого и адвоката. И нет ни малейшего сомнения, что когда бы не было строгой регулирующей и сдерживающей власти в лице председателя-судьи, английские присяжные нашего времени слепо потянули бы с своим вердиктом на сторону того или другого адвоката, кто сумел бы на них подействовать».

Вот, что говорит англичанин, глубокий знаток своей истории и глубокий мыслитель. Мысль невольно переносится к несчастному учреждению суда присяжных в тех странах, где нет тех исторических и культурных условий, при коих он образовался в Англии. Очевидно, многие, вводя это учреждение, только «слышали звон, да не знали, где он». Неразумно и легкомысленно было вверить приговор о вине подсудимого народному правосудию, не обдумав практических мер и способов, как его поставить в надлежащую дисциплину, и не озаботившись исследовать предварительно чужеземное учреждение в истории его родины и со сложною его обстановкой.

И вот, по прошествии долголетнего опыта, всюду, где введен с примера Англии, суд присяжных, возникают уже вопросы о том, как заменить его, для устранения той случайности приговоров, которая из года в год усиливается. Эти вопросы возникают и обостряются и в тех государствах, где есть крепкое судеб-

ное сословие, веками воспитанное, прошедшее строгую школу науки и практической дисциплины.

Можно себе представить, во что обращается это народное правосудие там, где, в юном государстве, нет и этой крепкой руководящей силы, но взамен того есть быстро образовавшаяся толпа адвокатов, которым интерес самолюбия и корысти сам собою помогает достигать вскоре значительного развития в искусстве софистики и логомахии⁹ для того, чтобы действовать на массу; где действует пестрое, смешанное стадо присяжных, собираемое или случайно, или искусственным подбором из массы, коей недоступны ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу фактов, требующих анализа и логической разборки; наконец — смешанная толпа публики, приходящей на суд как на зрелище, посреди праздной и бедной содержанием жизни; и эта публика, в сознании идеалистов, должна означать *народ*. Мудрено ли, что в такой обстановке оказывается тот же плачевный результат, на который указывают вышеприведенные слова Чарльза Мэна: «присяжные слепо тянут со своим вердиктом на сторону того или другого адвоката, кто сумеет на них подействовать».

ПЕЧАТЬ

I

С тех пор, как пало человечество, ложь водворилась в мире, в словах людских, в делах, в отношениях и учреждениях. Но никогда еще, кажется, отец лжи не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время, когда столько слышится отовсюду *лживых* речей *о правде*. По мере того, как усложняются формы быта общественного, возникают новые лживые отношения и целые учреждения, насквозь пропитанные ложью. На всяком шагу встречаешь великолепное здание, на фронте коего написано: «*здесь истина*». Входишь, и ничего не видишь, кроме лжи. Выходишь и, когда пытаешься рассказывать о лжи, которую душа возмущалась, — люди негодуют и велят верить и проповедовать, что это истина, вне всякого сомнения.

Так, нам велят верить, что голос журналов и газет — или так называемая *пресса*, есть выражение общественного мнения... Увы! Это великая ложь, и пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени. Кто станет спорить против силы *мнения*, которое люди имеют о человеке или учреждении? Такова уже

натура человеческая, что всякий из нас, — что ни говорит, что ни делает, оглядывается, как это кажется и что люди думают. Не было и нет человека, кто бы мог считать себя свободным от действия этой силы.

Эта сила в наше время принимает организованный вид и называется общественным мнением. Органом его и представителем считается печать. И подлинно, значение печати громадное и служит самым характерным признаком нашего времени, более характерным, нежели все изумительные открытия и изобретения в области техники. Нет правительства, нет закона, нет обычая, которые могли бы противостоять разрушительному действию печати в государстве, когда все газетные листы его изо дня в день, в течение годов повторяют и распространяют в массе одну и ту же мысль, направленную против того или другого учреждения.

Что же придает печати такую силу? Совсем не интерес новостей известий и сведений, которыми листки наполняются, — но известная тенденция журнала, та политическая или философская мысль, которая выражается в статьях его, в подборе и расположении известий и слухов и в освещении подбираемых фактов и слухов. Печать ставит себя в положение судящего наблюдателя ежедневных явлений; она обсуждает не только действия и слова людские, но испытует даже невысказанные мысли, намерения и предположения, по произволу клеймит их или восхваляет, возбуждает одних, другим угрожает, одних выставляет на позор, других ставит предметом восторга и примером подражания. Во имя общественного мнения она раздает награды одним, другим готовит казнь, подобную средневековому отлучению...

Сам собою возникает вопрос: кто же представители этой страшной власти, именующей себя общественным мнением? Кто дал им право и полномочие — во имя целого общества — править, ниспровергать существующие учреждения, выставлять новые идеалы нравственного и положительного закона?

Никто не хочет вдуматься в этот совершенно законный вопрос и дознаться в нем до истины; но все кричат о так называемой свободе печати, как о первом и главнейшем основании общественного благоустройства. Кто не вопиет об этом и у нас в несчастной, оболганной и оболживленной чужеземною ложью России? Вопиют в удивительной непоследовательности и так называемые славянофилы¹⁰, мнящие восстановить и водворить историческую правду учреждений в земле Русской. И они, присоединяясь в этом к хору либералов, совокупленных с поборни-

ками начал революций, говорят, совершенно по-западному: «общественное мнение, то есть соединенная мысль, с чувством и юридическим сознанием всех и каждого, служит окончательным решением в делах общественного быта; итак, всякое стеснение свободы слова не должно быть допускаемо, ибо в стеснении сего рода выражается насилие меньшинства над всеобщей волею».

Таково ходячее положение новейшего либерализма. Оно принимается на веру многими, мало кто, вдумываясь в него, примечает, сколько в нем лжи и легкомысленного самообольщения.

Оно противоречит первым началам логики, ибо основано на вполне ложном предположении, будто общественное мнение тождественно с печатью.

Чтоб удостовериться в этой лживости, стоит только представить себе, что такое газета, как она возникает и кто ее делает.

Любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету, хотя бы большую, собрать около себя по первому кличу толпу писак, фельетонистов, готовых разглагольствовать о чем угодно, репортеров, поставляющих безграмотные сплетни и слухи, — и штаб у него готов, и он может с завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность. Это особый вид учредительства и грюндерства¹¹, и притом самого дешевого свойства. Разумеется, новая газета тогда только приобретает силу, когда пошла в ход на рынке, т. е. распространена в публике. Для этого требуются таланты, требуется содержание привлекательное, сочувственное для читателей. Казалось бы, тут есть некоторая гарантия нравственной солидности предприятия: талантливые люди пойдут ли в службу к ничтожному или презренному издателю и редактору? Читатели станут ли брать такую газету, которая не будет верным отголоском общественного мнения? Но это гарантия только мнимая и отвлеченная. Ежедневный опыт показывает, что тот же рынок привлекает за деньги какие угодно таланты, если они есть на рынке, — и таланты пишут что угодно редактору. Опыт показывает, что самые ничтожные люди — какой-нибудь бывший ростовщик, жид фактор, газетный разносчик, участник банды червонных валетов, разорившийся содержатель рулетки, — могут основать газету, привлечь талантливых сотрудников и пустить свое издание на рынок в качестве органа общественного мнения. Нельзя положиться и на здравый вкус публики. В массе читателей — большею частью праздных — господствуют, наряду с не-

которыми добрыми, жалкие и низкие инстинкты праздного развлечения, и любой издатель может привлечь к себе массу расчетом на удовлетворение именно таких инстинктов, на охоту к скандалам и пряностям всякого рода. Мы видим у себя ежедневные тому примеры, и в нашей столице недалеко ходить за ними: стоит только присмотреться к спросу и предложению у газетных разносчиков возле людных мест и на станциях железных дорог. Всем известен недостаток серьезности в нашей общественной беседе: в уездном городе, в губернии, в столице — известно, чем она проваляется — картами и сплетней всякого рода — и анекдотом, во всех возможных его формах. Самая беседа о так называемых вопросах общественных и политических является большею частью в форме *пересуда* и отрывочной фразы, пересыпаемой тою же сплетней и анекдотом. Вот почва необыкновенно богатая и благодарная для литературного промышленника, и на ней-то рождаются, подобно ядовитым грибам, и эфемерные, и успевшие стать на ноги, органы общественной сплетни, нахально выдающие себя за органы общественного мнения. Ту же самую гнусную роль, которую посреди праздной жизни какого-нибудь губернского города играют безыменные письма и пасквили, к сожалению, столь распространенные у нас, — ту же самую роль играют в такой газете *корреспонденции*, присылаемые из разных углов и сочиняемые в редакции. Не говорим уже о массе слухов и известий, сочиняемых невежественными репортерами, не говорим уже о гнусном промысле *шантажа*, орудием коего нередко становится подобная газета. И она может процветать, может считаться органом общественного мнения и доставлять своему издателю громадную прибыль... И никакое издание, основанное на твердых нравственных началах и рассчитанное на здравые инстинкты массы, — не в силах будет состязаться с нею.

Стоит всмотреться в это явление: мы распознаем в нем одно из безобразнейших логических противоречий новейшей культуры, и всего безобразнее является оно именно там, где утвердилось начала новейшего либерализма, именно там, где требуется для каждого учреждения санкция выбора, авторитет всенародной воли, где правление сосредоточивается в руках лиц, опирающихся на мнение большинства в собрании представителей народных. От одного только журналиста, власть коего практически на все простирается, — не требуется никакой санкции. Никто не выбирает его и никто не утверждает. Газета становится авторитетом в государстве, и для этого единственно авторитета не требуется никакого признания. Всякий, кто хочет, первый встречный может стать органом этой власти, представителем этого

авторитета, — и притом вполне *безответственным*, как никакая иная власть в мире. Мало ли было легкомысленных и бессовестных журналистов, по милости коих подготавливались революции, закипало раздражение до ненависти между сословиями и народами, переходившее в опустошительную войну. Иной монарх за действия этого рода потерял бы престол свой; министр подвергся бы позору, уголовному преследованию и суду: но журналист выходит сух как из воды изо всей заведенной им смуты, изо всякого погрома и общественного бедствия, коего был причиною, выходит с торжеством, улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою разрушительную работу.

Спустимся ниже. Судья, имея право карать нашу честь, лишать нас имущества и свободы, приемлет его от государства и должен продолжительным трудом и испытанием готовиться к своему званию. Он связан строгим законом; всякая ошибка его и увлечения подлежат контролю высшей власти, и приговор его может быть изменен и исправлен. А журналист имеет полнейшую возможность запятнать, опозорить мою честь, затронуть мои имущественные права; может даже стеснить мою свободу, затруднив своими нападками или сделав невозможным для меня пребывание в известном месте. Но эту судебскую власть надо мною сам он себе присвоил: ни от какого высшего авторитета он не принял этого звания, не доказал никаким испытанием, что он к нему приговорен, ничем не удостоверил личных качеств благонадежности и беспристрастия, в суде своем надо мною не связан никакими формами процесса и не подлежит никакой апелляции в своем приговоре. Правда, защитники печати утверждают, будто она сама излечивает наносимые ею раны; но ведь всякому разумному понятно, что это одно лишь пустое слово. Нападки печати на частное лицо могут причинить ему вред неисправимый. Все возможные опровержения и объяснения не могут дать ему полного удовлетворения. Не всякий из читателей, кому попала на глаза первая поносительная статья, прочтет другую, оправдательную или объяснительную, а при легкомыслии массы читателей — позорящее внушение или наругательство оставляют во всяком случае яд в мнении и расположении массы. Судебное преследование за клевету, как известно, — дает плохую защиту, и процесс по поводу клеветы служит почти всегда средством не к обличению обидчика, но к новым оскорблениям обиженного; а притом журналист имеет всегда тысячу средств уязвлять и тревожить частное лицо, не давая ему прямых поводов к возбуждению судебного преследования.

Итак, можно ли представить себе деспотизм более насильственный, более безответственный, чем деспотизм печатного сло-

ва? И не странно ли, не дико ли и безумно, что о поддержании и охранении именно этого деспотизма хлопочут всего более — ожесточенные поборники *свободы*, вопиющие с озлоблением против всякого насилия, против всяких законных ограничений, против всякого стеснительного распоряжения *установленной власти*? Невольно приходит на мысль вековечное слово об умниках, которые совсем обезумели от того, что возомнили себя мудрыми!

II

В нашем веке распространения изобретений всего удивительнее быстрое распространение газетной литературы, ставшей в короткое время страшно действительною общественною силой. Значение газеты возросло в первый раз после Июльской революции 1830 года¹², углубилось еще после революции 1848 года¹³ и затем стало возрастать не годами только, но днями. Ныне с этою силой считаются правительства, и стало даже невозможно представить себе не только общественную, но и частную жизнь без газеты, и прекращение выхода газеты, если б возможно было бы представить его себе, было бы однозначительно с прекращением всякого действия железных дорог.

Газета, несомненно, служит для человечества важнейшим орудием культуры. Но, признавая все удобство и пользу от распространения массы сведений и от обмена мыслей и мнений путем газеты, нельзя не видеть и того вреда, который происходит для общества от безграничного распространения газеты, нельзя не признать с чувством некоторого страха, что в ежедневной печати скопляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая над человечеством.

Каждый день, поутру, газета приносит нам кучу разнообразных новостей. В этом множестве — многое ли пригодно для жизни нашей и для нашего образовательного развития? Многое ли способно поддерживать в душе нашей священный огонь одушевления на добро? И напротив — сколько здесь такого, что льстит самым низменным нашим склонностям и побуждениям! Могут сказать, что нам дают то, что требуется вкусом читателей, что отвечает на спрос. Но это возражение можно обернуть: спрос был бы не такой, если б не так ретиво было предложение.

Но пускай бы еще предлагались одни новости: нет, они предлагаются в особливой форме, окрашенные особливым мнением, соединенные с безыменным, но очень решительным суждением. Есть, конечно, серьезные умы, руководящие газетой: таких не-

много; а газет великое множество, и всякое утро некто, совсем незнаемый мною, и, может быть, такой, какого я и знать не хотел бы, навязывает мне суждение, выдавая его авторитетно за голос общественного мнения. Но всего важнее то, что эта газета, обращаясь ежедневно даже не к известному кругу людей, но ко всему люду, умеющему лишь разбирать печатное, предлагает каждому готовые суждения обо всем, и таким образом, мало-помалу, силою привычки, отучает своих читателей от желаний и от всякого старания иметь свое собственное мнение: иной и не имеет возможности сам себе составить его и воспринимает механически мнение своей газеты; иной и мог бы сам рассудить основательно, но ему некогда думать посреди дневной суеты и заботы, и ему удобно, что за него думает газета. Очевидно, какой происходит от этого вред, именно в наше время, когда повсюду действуют сильные течения тенденциозной мысли и стремятся уравнивать всякие углы и отличия индивидуального мышления и свести их к единообразному уровню так называемого *общественного* мнения: в этих условиях газета служит сильнейшим орудием такого уравнивания, ослабляющего всякое самостоятельное развитие мысли, воли и характера. А притом, для какого множества людей газета служит почти единственным источником образования, жалкого, мнимого образования, — когда масса разных сведений и известий, приносимая газетой, принимается читателем за *действительное знание*, которым он с самоуверенностью вооружает себя. Вот одна из причин, почему наше время так бедно *цельными* людьми, характерными деятелями. Новейшая печать похожа на сказочного богатыря, который, написав на челе своем таинственные буквы — символ божественной истины, поражал всех своих противников, дотоле, пока не явился бесстрашный боец, который стер с чела его таинственные буквы. — На челе нашей печати написаны доселе знамена общественного мнения, действующие неотразимо.

НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

I

Когда рассуждение отделилось от жизни, оно становится искусственным, формальным и, вследствие того, мертвым. К предмету подходят и вопросы решаются с точки зрения общих положений и начал, на веру принятых: скользят по поверхности, не углубляясь внутрь предмета и не всматриваясь в явления дейст-

вительной жизни, — даже отказываясь всматриваться в них. Таких общих начал и положений расплодилось у нас множество, особенно с конца прошлого столетия — они заполнили нашу жизнь, совсем отрешили от жизни наше законодательство, и самую науку ставят нередко в противоположность с жизнью и ее явлениями. Вслед за доктринерами науки, доходящими до фанатизма в своем доктринерстве, и за школьными адептами натверженных учений — идет стадным обычаем толпа интеллигенции. Общие положения приобретают значение непререкаемой аксиомы, борьба с коюю становится крайне тягостна, иногда совсем невозможна. Трудно исчислить и взвесить, сколько ломки произвели эти аксиомы в законодательстве, как опутали они по рукам и по ногам живой организм народного быта искусственными, силою навязанными формами! Впереди этого движения пошла Франция: она ввела в моду нивелировку быта народного посредством общих начал, выведенных из отвлеченной теории. За нею потянулись все — даже государства, соединяющие в себе бесконечное разнообразие условий быта, племенного состава, пространства и климата. Сколько пострадало от того и наше отечество — не перечтешь.

Вот, например, слова — натверженные до пресыщения у нас и повсюду: даровое обучение, обязательное обучение, ограничение работы малолетних обязательным школьным возрастом... Нет спора, что ученье свет, а неученье — тьма; но в применении этого правила необходимо знать меру и руководствоваться здравым смыслом, а главное — не насиловать ту самую свободу, о которой столько твердят и которую так решительно нарушают наши законодатели. Повторяя на все лады пошлое изречение, что школьный учитель победил под Садовою¹⁴, мы разводим по казенному лекалу школу и школьного учителя, пригибая под него потребности быта детей и родителей, и самую природу и климат. Мы знать не хотим, что школа (как показывает опыт) становится одною обманчивою формой, если не выросла самыми корнями своими в народ, не соответствует его потребностям, не сходится с экономией его быта. Только та школа прочна в народе, которая любя ему, которой просветительное значение видит он и ощущает; противна ему та школа, в которую пихают его насилием, под угрозю еще наказания, устраивая самую школу не по народному вкусу и потребности, а по фантазии доктринеров школ. Тогда дело становится механически: школа уподобляется канцелярии, со всею тяготой канцелярского производства. Законодатель доволен, когда заведено и расположено по намеченным пунктам известное число однообразных помещений с

надпись: *школа*. И на эти заведения собираются деньги — и уже грозят загонять в них под страхом штрафа; и учреждаются с великими издержками наблюдатели за тем, чтобы родители, и бедные, и рабочие люди высылали детей своих в школу со школьного возраста... Но, кажется, все государства далеко перешли уже черту, за которою школьное ученье показывает в народном быте оборотную свою сторону. Школа формальная уже развивается всюду на счет той действительной, воспитательной школы, которою должна служить для каждого сама жизнь в обстановке семейного, профессионального и общественного быта.

Сколько наделало вреда смешение понятия о *знании* с понятием об *умении*! Увлечшись мечтательною задачей всеобщего просвещения, мы назвали просвещением известную сумму *знаний*, предположив, что она приобретается прохождением школьной программы, искусственно скомпонованной кабинетными педагогами. Устроив таким образом школу, мы отрезали ее от жизни и задумали насильственно загонять в нее детей для того, чтобы подвергать их процессу умственного развития по нашей программе. Но мы забыли или не хотели сознать, что масса детей, которых мы просвещаем, должна жить насущным хлебом, для приобретения коего требуется не сумма голых знаний, коими программы наши напичканы, а *умение* делать известное дело, и что от этого умения мы можем отбить их искусственно, на воображаемом знании, построенною школой. Таковы и бывают последствия школы, мудроно устроенной, и вот причина, почему народ не любит такой школы, не видя в ней толку.

Понятие народное о школе есть истинное понятие, но, к несчастью, его перемудрили повсюду в устройстве новой школы. По народному понятию, школа учит читать, писать и считать, но, в нераздельной связи с этим, учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей. Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые в совокупности своей образуют в человеке *совесть* и дают ему нравственную силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать борьбу с дурными побуждениями природы, с дурными внушениями и соблазнами мысли.

Плохо дело, когда школа отрывает ребенка от среды его, в которой он привыкает к делу своего звания — упражнением с юных лет и примером, приобретая бессознательно искусство и вкус к работе. Кто готовится быть кандидатом или магистром, тому необходимо начинать учение в известный срок и проходить последовательно известный ряд наук; но масса детей готовится к труду ручному и ремесленному. Для такого труда необходимо

приготовление физическое с раннего возраста. Закрывать путь к этому приготовлению, чтобы не потерять времени для школьных целей, значит — затруднять способы к жизни массе людей, бьющихся в жизни из-за насущного хлеба, и стеснять посреди семьи естественное развитие экономических сил ее, составляющих в совокупности капитал общественного благосостояния. Моряк воспитывается для морского дела, с детства вырастая на воде; рудокоп привыкает к своему делу и приучает к нему свои легкие — не иначе, как опускаясь с юных лет в подземные мины. Тем более земледелец — привыкает к своему труду и получает любовь к нему, когда с детства живет, не отрываясь от природы, возле домашней скотины, возле сохи и плуга, возле поля и луга.

А мы все препираемся о курсе для народной школы, о курсе обязательном, с коим будто бы соединяется полное развитие. Иной хочет вместить в него энциклопедию знаний под диким названием Родиноведение; иной настаивает на необходимости поселянину знать физику, химию, сельское хозяйство, медицину; иной требует энциклопедию политических наук и правоведение... Но мало кто думает, что, отрывая детей от домашнего очага на школьную скамью с такими мудреными целями, мы лишаем родителей и семью рабочей силы, которая *необходима* для поддержания домашнего хозяйства, а детей развращаем, наводя на них мираж мнимого или фальшивого и отрешенного от жизни знания, подвергая их соблазну мелькающих перед глазами образов суеты и тщеславия.

II

Новейшая школа народных просветителей предлагает одно средство, один рецепт для блага человечества: войну с предрассудками и невежеством массы народной. Все бедствия человечества, по мнению писателей этой школы, происходили от того, что в массе народной держались слишком упорно в течение веков некоторые безотчетные ощущения и мнения, которые необходимо во что бы то ни стало разрушить, вырвать с корнем. К таким вредным ощущениям и мнениям они относят все, чего нельзя доказать, что не оправдывается логикой. Когда бы, — так рассуждают эти философы, — все люди могли привести в движение свою умственную силу, развить свое мышление и им руководствовались бы, — вместо того, чтобы думать, чувствовать и жить по мнениям, принятым на веру, — тогда начался бы золотой век для человечества. В одно поколение человечество

продвинулось бы так, как доньше не подвигалось и в течение нескольких столетий. Когда бы хоть на один градус поднялся уровень мыслительной силы в массе, от этого произошли бы последствия неисчислимы. У всех почти есть какой-нибудь один силлогизм, который слагается в голове по непосредственному впечатлению, с первых лет юности. Если бы к этому запасу прибавился у всех еще другой силлогизм и мысль у каждого стала бы способна связать оба в одну цепь мышления, от этого одного изменился бы вид вселенной, преобразовалась бы судьба всего человечества. Вот цель, к которой хотят вести нас, вот задача просвещения и прогресса, которую ставят новые философы XIX столетия.

Кажется — как спорить против этого? А между тем у предлагаемой задачи есть и другая сторона, обратная и темная, которую обыкновенно упускают из виду.

Есть в человечестве натуральная, земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории, — и сила эта столь необходима, что без нее поступательное движение вперед становится невозможно. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, — безусловно необходима для благосостояния общества. Разрушить ее — значило бы лишит общество той *устойчивости*, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы — вот в чем главный порок новейшего прогресса.

Что такое предрассудок? Предрассудок, говорят, есть мнение, не имеющее разумного основания, не допускающее логической аргументации; все такие мнения предполагается искоренить, каким способом? — возбудив в каждом человеке мыслительную деятельность и поставив мнение у каждого человека в зависимость от *логического вывода*. Прекрасно, но прекрасно лишь в отвлеченной теории. В действительной жизни мы видим, что в большей части случаев невозможно довериться действию одной способности *логического мышления* в человеке; что во всяком деле жизни действительной мы более полагаемся на человека, который держится упорно и безотчетно мнений, непосредственно принятых и удовлетворяющих инстинктам и потребностям природы, нежели на того, кто способен изменять свои мнения по выводам своей логики, которые в данную минуту представляются ему неоспоримым гласом разума. В таком расположении человеку легко сделаться послушным рабом *всякого рассуждения*, на которое он не умеет в данную минуту ответить, сдаваться

безусловно, со всем своим мировоззрением, на всякий новый прием логической аргументации по какому угодно предмету. Он становится беззащитен против всякой теории, против всякого вывода, если не обладает сам таким арсеналом логического оружия, каким располагает в данную минуту противник его. Стоит только признать силлогизм высшим, безусловным мерилom истины, — и жизнь действительная попадает в рабство к отвлеченной формуле рассудочного мышления, ум со здравым смыслом должен будет покориться пустоте и глупости, владеющей орудием формулы, и искусство, испытанное жизнью, должно будет смолкнуть перед рассуждением первого попавшегося юноши, знакомого с азбукою формального рассуждения. Можно себе представить, что случилось бы с массою, если б удалось, наконец, нашим реформаторам привить к массе веру в безусловное, руководительное значение логической формулы мышления. В массе исчезло бы то драгоценное свойство устойчивости, с помощью коего общество успевало до сих пор держаться на твердом основании.

Притом, справедливо ли признать, что упорство в мнении, на веру принятом, состоит необходимо и всегда в противоречии с логикой, что так называемый предрассудок означает всегда тупость или недеятельность мышления? Нет, несправедливо. Если человек склонен сдаться со своим мнением и верованием на доказательную аргументацию логики, это совсем еще не означает, что он логичнее, последовательнее того, кто, не уступая аргументации, упорно держится в своем мнении. Напротив того, приверженность простого человека к принятому на веру мнению происходит, хотя большею частью и бессознательно для него самого, от инстинктивного, но *в высшей степени логического побуждения*. Простой человек инстинктивно чувствует, что с переменою одного мнения об одном предмете, которую хотят произвести в нем посредством неотразимой, по-видимому, аргументации, соединяется перемена в целой цепи воззрений его на мир и на жизнь, в которых он не отдает себе отчета, но которые неразрывно связаны со всем его мышлением и бытом, и составляют духовную жизнь его. Эту-то цепь стремится и разорвать по звеньям лукавая диалектика современных просветителей, и, к несчастью, легко иногда успевает. Но простой человек с здравым смыслом чувствует, что, уступив беззащитно в одном — первому нападению логической аргументации, он поступил бы всем, а целым миром своего духовного представления он не может поступиться из-за того только, что не в состоянии логически опровергнуть аргументацию, направленную против одного из фактов

этого мира. Напрасно лукавый совопросник стал бы стыдить такого простого человека и уличать его в глупости: в этом простой человек совсем не глуп, а разумнее своего противника: он не умеет еще осмыслить во всей совокупности явления и факты своего духовного мира, и не располагает диалектическим искусством своего противника, но, упираясь на свое, тем самым показывает, что дорожит своим мнением, бережет его и ценит истину убеждения — не в форме рассудочного выражения, а во всей ее целостности.

А так хотят нынче просвещать простого человека. Про все подобные приемы просвещения можно сказать, что они — от *лукавого*. Ночью, когда люди спят или впросонках бессильны, приходит лукавый и потихоньку, под видом доброго и благонамеренного человека, сеет свои плевелы. И совсем не нужно для этого быть ни умным, ни ученым человеком — нужно быть только *лукавым*. Требуется ли много ума, например, чтобы подойти в удобную минуту к простому человеку и пустить в него смуту: «Что ты молишься своему Николе? Разве видал когда-нибудь, чтобы Никола помогал тому, кто ему молился?» Или подольститься к девушке в простой семье такую речь: «Кто тебе докажет, что доля твоя всегда зависит от других и быть рабою мужчины? Разум говорит тебе, что ты равна ему во всем и на все решительно одинаково с ним имеешь право». Или — прокрасться между родителями и юношею-сыном с такую речь: «По какой логике обязан ты повиноваться родителям? Кто тебе велел уважать их, когда они по твоему разумению того не стоят? Что, как не случайное явление природы, связь твоя с ними, и разве ты не свободный человек, прежде всего равный всем и каждому?» С такими речами и множеством подобных бродит уже *лукавый* между *простыми и малыми* в близких и дальних местах земли нашей, отбивает от стада овец и велит звать себя *учителем*, и уводит, и выгоняет в пустыню...

ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР О НАРОДНОМ ВОСПИТАНИИ

The Study of Sociology. XV

Правильное законодательство не должно отступать от психологической истины. Не подлежит сомнению следующая истина, которую так часто упускают из виду. Действия человеческие зависят непосредственно от *ощущения*, а не от *вѣдения*. Вѣдение, само по себе, не производит действия. Когда я нечаянно накалы-

ваюсь на булавку или попадаю пальцем в кипяток, я невольно вздрагиваю. От сильного ощущения происходит движение непосредственно, безо всякой мысли. Напротив того, одно сознание, что булавка колет, что кипяток обжигает — не производит во мне никакого движения. Без сомнения, если с этим сознанием соединяется мысль о близкой опасности от булавки или от кипятку, то возникает более или менее решительное побуждение отпрянуть. Но к этому побуждает меня воображаемая боль. Голое сознание, что от укола или от обжога бывает боль, — не производит действия; действие начинается с той минуты, когда боль, словесно утверждаемая или идеально сознаваемая, становится действительно сознаваемою или угрожающею болью, когда в сознании возникает живое представление боли, как смутный образ боли, уже испытанной прежде. Стало быть, причиною действия в этом случае, равно как и в других, служит не ведение, а ощущение. То же самое, что видно в этом простом действии, оказывается и в действиях самых сложных. Двигателем деятельности служит не ведение само по себе, но не иначе как в соединении с возбуждающим его ощущением. Пьяница очень хорошо знает, что после сегодняшнего распутства завтра утром явится головная боль с тяжестью, но сознание этой истины не устрашает его, пока не возникнет в нем живое представление угрожающей ему тягости, покуда ощущение, противодействующее пьяной похоти, не достигает такой силы, которая могла бы уравновесить эту похоть. То же вообще следует применить ко всякой беспечности. Когда угрожающее зло явственно представляется воображению и угрожающее страдание вполне ощутительно в духе, тогда налагается действительная узда на стремление к немедленному удовлетворению настоящего желанья; но когда нет явственного сознания об угрожающем страдании, — настоящее желание не встречает достаточного себе противодействия. Умственно сознается вполне та истина, что беспечность приводит к бедственному положению, к лишениям; но это сознание остается без действия, покуда бедствие не представляется в воображении живою картиной. На берегу стоит толпа народу. В воду опрокинулась лодка, человек тонет. Все видят ясно, как дважды два четыре, что он утонет, если не подадут помощи. Все знают, что его можно спасти, если какой-нибудь пловец бросится в воду и поплывет к нему. Всем натвержено от рожденья, что на каждом лежит долг помочь ближнему в опасности; все сознают, что рискнуть собою для того, чтобы спасти человека от смерти, — дело честное и славное. Многие умеют и плавать, но отчего же никто не бросается в воду, а все только зовут: помогите! или кричат советы

утопающему? Но вот — выходит один, сбрасывает верхнее платье, бросается и плывет на помощь. Этот один чем отличается от остальных? Неужели ведением? Нисколько. Сознание у него то же самое, что и у всех; и он так же, как все, знает, что жизнь человека в опасности, знает, как можно помочь ему. Но у него вместе с этим сознанием возбуждаются некоторые соотносительные ощущения, и возбуждаются сильнее, чем у других. Во всех возбуждается по несколько соотносительных ощущений; но у других преобладают отвращающие ощущения страха и т. п., а у него избыток ощущения произведен сочувствием, в совокупности, может быть, с другими ощущениями низшего разряда. В том и в другом случае действие определилось не ведением, а ощущением. Чем же, стало быть, можно произвести перемену в бездейственном отношении зрителей к бедственному событию? Очевидно, не уяснением в них ведения, а усилением в них *высших ощущений*.

Вот, по-видимому, основная психологическая истина, с которою должна бы сообразоваться всякая разумная система человеческой дисциплины. Не явно ли, что когда законодатель оставляет без внимания эту истину, но держится противоположного с нею представления, — он неизбежно впадает в ошибку. А нынешнее законодательство по большей части так и поступает; обманываясь заодно с общественным мнением, оно с горячностью стремится к принятию мер, основанных на том предположении, что человеческая деятельность определяется не ощущением, но ведением.

Разве не это самое предположение лежит в основе всех мер, с такою настоятельностью вводимых для организации школьного обучения? И у той, и у другой из обеих партий, препирающихся по этому вопросу, основное понятие одно и то же: что для улучшения нравов и деятельности единственным средством служит распространение знания. Все обольщены разными обманчивыми статистическими цифрами и упорно стоят на том, что от государственного школьного воспитания прямо зависит сокращение преступлений и улучшение общественной нравственности. Все находят в газетах сравнительные выводы о числе неграмотных преступников с числом грамотных, видят, что первое гораздо больше последнего числа, и заключают отсюда без рассуждений, что источник преступлений — невежество. Им не приходит в голову, что из статистики можно прибрать какие угодно цифры и доказывать ими, точно с такою же достоверностью, что число преступлений зависит, например, от того, сколько раз в день люди моются, часто ли переменяют белье, какова у них в квар-

тире вентиляция, есть ли у них особая спальня и т. п. Стоит сходить в тюрьму и справиться, сколько преступников из таких, которые имели привычку брать по утрам ванну, мыться по столько-то раз в день; тотчас явится представление о том, что преступное расположение состоит в связи с состоянием кожи — в грязи или в опрятности. Сочтите всех тех, у кого было больше одной пары платья, и сравнение чисел сейчас покажет вам, что под привычку переменять платье подходит очень небольшой процент преступников. Справьтесь, где они жили, на больших улицах или в закоулках, и вы увидите, что городские преступления — без малого все исходят из углов и подвалов. Точно так же фантастический член общества воздержания, поборник санитарных мер всякого рода — найдет в статистических цифрах сколько угодно сильных доказательств своей доктрины. Но кто не принимает на веру предлагаемое ему положение принятой доктрины, что невежество — причина, а преступление — следствие, и захочет удостовериться, нет ли разных других причин, от которых в равной мере зависит преступность, — тот увидит ясно, что преступление в действительности зависит от *нашего образа жизни*, соединенного большею частью с *низшими свойствами* прирожденного естества. Тогда необходимо будет признать, что невежество есть лишь одно из многих и разнообразных обстоятельств, коими обыкновенно сопровождается преступление.

Казалось бы, как можно отвергать эту критическую поверку существующего мнения и вывод, из нее следующий. Но существующее мнение знать не хочет этого вывода и отвергает его упорно; до того въелось в умы принятое понятие. Его может изменить и оболживить в умах только действительность, когда она покажет, какие вышли последствия. Когда волна принятого мнения достигла известной высоты, ее не отразишь никаким убеждением, никакой очевидностью; надо, чтобы она истощила свою силу в постепенном течении дел человеческих: лишь с этой поры, не прежде, возникает поворот в мнении. Это верно, иначе было бы совершенно непонятно, как эта уверенность в целительной силе школьного обучения, в которую люди вдалились, наслушавшись без рассуждения всего, что им каждый день толкуют политические *доктринеры*, — как эта уверенность могла устоять перед очевидными свидетельствами ежедневного житейского опыта. Любая мать, любая гувернантка приходят каждый день в смущение от того, что речи ее не действуют, хотя она твердит беспрестанно о том, что хорошо, что дурно. Отовсюду слышатся постоянные жалобы, что убежденье, толкованье, разъясненье оче-

видных последствий не оказывает на некоторые натуры ровно никакого действия; что если оно действует на иные натуры, то лишь благодаря восприимчивости ощущения; а где оно, быв сначала бесплодно, начинает оказывать действие, там причиною оказывается не столько уяснение понятия, сколько изменение в ощущении. В каждом хозяйстве услышите, что все возможные замечания не производят действия на прислугу; сколько им ни толкуй, они упорно держатся старых своих привычек, хотя бы самых нелепых; исправить прислугу возможно не наставлениями, а страхом штрафов и взысканий — то есть возбуждением ощущения. Обратимся в сферу совсем иных отношений — увидим то же самое. Злостные банкроты, учредители дутых компаний, производители поддельного товара, фабриканты, пользующиеся чужими марками, торговцы с фальшивыми весами, страхователи поддельного имущества, охотники, надувающие друг друга, игроки, ведущие большую игру, — разве все это не *воспитанные* люди? Возьмем крайние случаи: все известные на нашей памяти отравители принадлежат большею частию к образованному классу.

Вера в безусловное нравственное действие умственного образования, опровергаемая фактами, есть не что иное, как предвзятое положение (*a priori*), натянутое до нелепости. Человек научился, что тот или другой знак, на бумаге поставленный, означает то или другое слово: какую связь можно себе представить между этим знанием — и высшим сознанием долга? Уменьше означать на бумаге знаками слова и звуки — неужели имеет силу утвердить в человеке волю, направленную к добру и правде? Неужели таблица умноженья, уменьше слагать и вычитать — усиливает в человеке силу сочувствия и удерживает его от обиды ближнему? Чувство правды — разве усиливается в чем-нибудь от грамотности или от знания географии, хотя бы самого подробного? Доказывать, что одно происходит от другого, — не все ли равно, что утверждать, будто ноги укрепляются от упражнения пальцев на руках, что кто выучился по латыни, тот узнает геометрию, и т. п.? Неужели менее неразумно утверждать, что дисциплина умственных способностей сама по себе ведет к настроению в человеке ощущений на благо и правду?

Вера во всемогущество школы, в книжные уроки и чтения принадлежит к числу главных суеверий нашего времени. Книжке, даже как орудию умственного образования, придается слишком много значения. Знание непосредственное, из первых рук, важнее знания из вторых рук; последнее должно служить только заменой первого, где первое невозможно; а у нас последнему

отдается предпочтение перед первым. Дело ставится так, что все, воспринимаемое из печатной страницы, входит в курс воспитания, а то, что заимствуется из непосредственного наблюдения в жизни и в природе — допускается в этот курс с трудом.

Читать — значит видеть чужими глазами, значит учиться посредством чужих способностей вместо того, чтоб учиться непосредственно с помощью своей способности; но существующий предрассудок вошел в такую силу, что непрямой способ ученья предпочитается прямому способу и величается образованием. Нам смешно слышать, что дикие считают письмо волшебною грамотой; нас забавляет история того негра, который, неся корзинку с фруктами при письме, съел фрукты и спрятал под камень письмо, чтоб оно не донесло на него. Но недалеко от этого анекдота — заблуждение, которое таится в ходячих понятиях об обучении посредством печати; идеям, приобретаемым посредством искусственного орудия, приписывается какая-то магическая сила, в сравнении с идеями, иным путем приобретаемыми. Это заблуждение действует очень вредно даже на умственное образование; но оно еще пагубнее действует на образование нравственное, возбуждая предположение, будто и нравственного образования можно достигнуть чтением и повторением уроков.

Итак, повторяю, действия человеческие определяются не ведением, а чувством. Отсюда таков должен быть заключительный вывод: склонность к тем или другим действиям укрепляется только опытом, то есть часто повторяемым переходом от чувства к действию. Когда две идеи часто повторяются в известном порядке, они, наконец, в этом порядке между собою связываются; механические движения мускулов в известной комбинации сначала очень затруднительны, но по мере упражнения становятся легки и, наконец, совершаются бессознательно; точно так же, с повторением действий, возбуждаемых теми или другими ощущениями, известный образ действий становится у человека естественным, не требующим особых усилий. Нравственная привычка образуется не посредством наставления, хотя бы оно каждый день повторялось, даже не посредством примера (если пример не возбуждает к подражанию); но лишь посредством действия, повторительно возбуждаемого соответственным чувством. Вот истина, очевидная из психологии и оправдываемая опытом ежедневной жизни; тем не менее истина эта отрицается фанатиками ходячей теории образования.

Едва ли кто станет сознательно утверждать, что умственное знание важнее для человека, нежели образование характера. Всякому приходилось в жизни делать замечание, что работник

хоть и неграмотный, но трезвый, честный и прилежный к делу, несравненно более имеет цены и для себя, и для других, нежели обученный и знающий, но неисправный, беспорядочный, пьяный, не думающий о семье. В высших классах мот и игрок, как бы ни был образован и умственно развит, не стоит человека, который, хотя и не проходил патентованного курса, делает добросовестно свое дело и сам устраивает детей своих, не оставляя их в бедности на попечение родным. Стало быть, если взять дело, как оно есть в действительности, надо будет всем согласиться, что для благосостояния общественного характер — несравненно важнее многого знания. Против этого не спорят, а вывода, который отсюда следует, не принимают. Не ставят и вопроса о том, как отразятся на характере все искусственные средства, употребляемые для распространения знания. Изю всех целей, которые может иметь в виду законодатель, самая первая, самая важная — образование характеров в народе и утверждение сознания личной ответственности каждого; а эта именно цель и оставляется без внимания.

Размыслим, что вся будущность нации зависит от свойства единиц, из коих нация составлена; что эти свойства неизбежно подвергаются изменению, сообразно условиям, в которые поставлены; что ощущения, возбуждаемые этими условиями, неизбежно должны усиливаться, а ощущения, которых условия эти не вызывают, должны ослабевать и глхнуть. Тогда убедимся в том, что улучшения общественной нравственности можно достигнуть не повторением правил и наставлений, и еще менее того одною заботой о распространении умственного образования, а ежедневным упражнением высших ощущений духа и борьбой с низшими ощущениями. Способ к этому один: содержать людей в строгом подчинении порядку общественной жизни, чтобы всякое его нарушение неизбежно отзывалось злом, а соблюдение его — благом для всякого человека. *В этом, и только в этом одном, состоит национальное воспитание.*

ЗАКОН

Сколько стародавних понятий помрачилось и запуталось в наше время! Сколько старомодных имен, изменивших или на глазах у нас изменяющих свое значение!

Изменяется — и не к добру изменяется — понятие о законе. Закон — с одной стороны *правило*, с другой стороны — *заповедь*, и на этом понятии о заповеди утверждается нравственное

сознание о законе. Основным типом закона остается десятисловие: «чти отца твоего... не убий... не укради... не завидуй». Независимо от того, что зовется на новом языке *санкцией*, независимо от кары за нарушение, заповедь имеет ту силу, что она будит совесть в человеке, полагая свыше властное разделение между *светом* и *тьмою*, между *правдою* и *неправдою*. И вот где, — а не в материальной каре за нарушение, — основная, непререкаемая санкция закона — в том, что нарушение заповеди немедленно обличается в душе у нарушителя — его совестью. От кары материальной можно избегнуть, кара материальная может пасть иногда, без меры, или свыше меры, на невинного, по несовершенству человеческого правосудия, — а от этой внутренней кары никто не избавлен.

Об этом высоком и глубоком значении закона совсем забывает новое учение и новая политика законодательства. На виду поставлено одно лишь значение закона, как правила для внешней деятельности, как механического уравнивателя всех разнообразных отправлений человеческой деятельности в юридическом отношении. Все внимание обращено на анализ и на технику в созидании законных правил. Бесспорно, что техника и анализ имеют в этом деле великое значение; но совершенствуя то и другое, разумно ли забывать основное значение законного правила. А оно не только забыто, но доходит уже до отрицания его.

И вот мы громоздим без числа и без меры необъятное здание законодательства, упражняемся непрестанно в изобретении правил, форм и формул всякого рода. Строим все это во имя свободы и прав человечества, а до того уже дошло, что человеку двинуться некуда от сплетения всех этих правил и форм, отовсюду связывающих, отовсюду угрожающих, во имя гарантий свободы. Пытаемся все определить, все вымерить и взвесить человеческими — следовательно, увы! неполными, несовершенными и часто обманчивыми формулами. Хотим освободить *лицо*, — но всюду расставляем ему ловушки, в которые чаще попадается правый, а не виноватый. Посреди бесконечного множества постановлений и правил, в коем путается мысль и составителей, и исполнителей, — известная фикция, что неведением закона никто отговариваться не может, — получает чудовищное значение. Простому человеку становится уже невозможно ни знать закон, ни просить о защите своего права, ни обороняться от нападения и обвинения: он попадает роковым образом в руки стряпчих, присяжных механиков при машине правосудия, — и должен оплачивать каждый шаг свой, каждое движение своего дела на арене суда и расправы... А между тем громадная сеть закона

продолжает плестись и сплетается в паутину, сжимая и совершенствуя свои клеточки. Недаром еще в XVI столетии знаменитый Бэкон применил к этой сети древнее пророческое слово: «Сети спадут на них, говорит пророк, и нет сетей гибельнее, чем сети законов: когда число изумножилось и течение времени сделало их бесполезными, — закон уже перестает быть светильником, освещающим путь наш, но становится сетью, в которой путаются наши ноги».

С XVI столетия в отечестве Бэкона эта сеть, которая в то время уже казалась ему невозможной, продолжала сплетаться ежедневно и достигла чудовищных размеров. Масса парламентских актов, постановлений, решений представляет нечто, хаотически громадное и хаотически нестройное. Нет ума, который мог бы разобраться в ней и привести ее в порядок, отделив случайное от постоянного, потерявшее силу от действующего, существенное от несущественного. Масса законов как будто сложена вся в громадный амбар, в котором по мере надобности выискивают что угодно люди, привыкшие входить в него и в нем разбираться. На таком состоянии закона опирается однако правосудие, опирается вся деятельность общественных и государственных учреждений. Если понятие о праве не заглохло в сознании народном, — это объясняется единственно силою предания, обычая, знания и искусства править и судить, преимущественно сохраняемого в действии старинных, веками существующих властей и учреждений. Стало быть, кроме закона, хотя и в связи с ним, существует разумная сила и разумная *воля*, которая действует властно в применении закона, и которой все сознательно повинуются. Итак, когда говорится об уважении к *закону* в Англии, — слово *закон* ничего еще не изъясняет: сила закона (коего люди не знают) поддерживается в сущности уважением к *власти*, которая орудует законом, и доверием к разуму ее, искусству и знанию. В Англии не пренебрежено, но строго охраняется главное, необходимое условие для поддержания законного порядка: *определительность* поставленных для того властей и принадлежащего каждой из них круга, так что ни одна из них не может сомневаться в твердости и колебаться в сознании пределов своего государственного полномочия. На этом основании власть орудует не одною буквою закона, рабски подчиняясь ей в страхе ответственности, но орудует законом в цельном и разумном его значении, как нравственною силой, исходящею от государства.

А где этой существенной силы нет, где нет древних учреждений, из рода в род служащих хранилищем разума и искусства в применении закона, там умножение и усложнение законов про-

изводит подлинно лабиринт, в коем запутываются дороги всех подзаконных людей, и нет выхода из сети, которая на них брошена. Законы становятся сетью не только для граждан, но — что всего важнее, для самых властей, призванных к применению закона, — стесняя для них, множеством ограничительных и противуречивых предписаний, ту свободу рассуждения и решения, которая необходима для разумного действия власти. Когда открывается зло и насилие, когда предстоит защитить обиженного, водворить порядок и воздать каждому должное, необходимо властное действие воли, направляемое стремлением к правде и к благу общественному. Но если при том лицо, обязанное действовать, на всяком шагу встречается в самом законе с ограничительными предписаниями и искусственными формулами, если на всяком шагу грозит ему опасность перейти ту или другую черту, из множества намеченных в законе, — если при том пределы властей и ведомств, соприкасающихся в своем действии, перепутаны в самом законе множеством дробных определений, — тогда всякая власть теряется в недоумениях, обессиливается тем самым, что должно бы вооружить ее силою, т. е. законом, и подавляется страхом ответственности в такую минуту, когда не страху, а сознанию долга и права своего — надлежало бы служить единственным побуждением и руководством. Нравственное значение закона ослабляется и утрачивается в массе законных статей и определений, нагромождаемых в непрерывной деятельности законодательной машины, и напоследок самый закон — в сознании народном получает значение какой-то внешней силы, неведомо зачем ниспадающей и отовсюду связующей и стесняющей отправления народной жизни.

БОЛЕЗНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

I

Все недовольны в наше время, и от постоянного, хронического недовольства многие переходят в состояние хронического раздражения. Против чего они раздражены? — против судьбы своей, против правительства, против общественных порядков, противу других людей, противу всех и всего, кроме себя самих.

Мы все бываем недовольны, когда обманываемся в ожиданиях: это недовольство разочарования, приносимое жизнью на поворотах, сглаживается обыкновенно на других поворотах тою же жизнью. Это — временная, преходящая болезнь, не то, что

нынешнее недовольство — болезнь повальная, эпидемическая, которою заражено все новое поколение. Люди вырастают в чрезмерных ожиданиях, происходящих от чрезмерного самолюбия и чрезмерных, искусственно образовавшихся потребностей. Прежде было больше довольных и спокойных людей, потому что люди не столько ожидали от жизни, довольствовались малою, средней мерой, не спешили расширить судьбу свою и ее горизонты. Их сдерживало свое место, свое дело и сознание долга, соединенного с местом и делом. Глядя на других, широко живущих в свое удовольствие, маленькие люди думали: где нам? и на этой невозможности успокаивались. Ныне эта невозможность стала возможностью, доступною воображению каждого. Всякий рядовой мечтает попасть в генералы фортуны, попасть не трудом, не службою, не исполнением долга и действительным отличием, — но попасть случаем и внезапною наживой. Всякий успех в жизни стал казаться делом случая и удачи, — и этою мыслью все возбуждены более или менее, точно азартною игрою и надеждой на выигрыш.

В экономической сфере преобладает система кредита. Кредит в наше время стал могущественным орудием для создания новых ценностей; но это средство сделалось доступно каждому, и, при относительной легкости его употребления, далеко не все создаваемые ценности получают действительное значение и служат для производительных целей: большею частью создаются ценности мнимые, дутые, для удовлетворения случайных и временных интересов, с расчетом на внезапное обогащение. Вследствие того успех каждого предприятия не в той мере, как бывало прежде, зависит от личной деятельности, от способности, энергии и знания предпринимателя: в общественной и экономической среде, около каждого дела, образовалось великое множество невидимых течений, неуловимых случайностей, которых нельзя предвидеть и обойти. Каждому деятелю приходится вступать в борьбу не с тем или другим определенным затруднением, но с целою сетью затруднений, которыми дело со всех сторон обставлено. Расчеты путаются, потому что данные, с которыми необходимо считаться, ускользают от расчета. Отсюда — состояние неуверенности, тревоги и истомы, от которого все более или менее страдают. Всякая деятельность парализуется таким душевным состоянием, в котором деятель чувствует, что не в силах справиться с обстоятельствами, что воля его и разум бессильны перед окружающими его препятствиями. Энергия ослабевает, человек дела становится фаталистом и привыкает рассчитывать в успехе не на силу распоряжения и предвидения, но на слепой

случай, на удачу. Вот одна из причин того пессимизма, которым заражены столь многие в наше время, и отчасти причина другой, общей болезни — практического материализма, — потребности чувственных наслаждений. Чувственные инстинкты возбуждаются с особенной силой в жизни, основанной на неверном и случайном, в тревожной и лихорадочной деятельности.

Те же явления заметны и в других сферах общественной деятельности. Повсюду ее орудием становится тот же кредит, повсюду создаются с удивительной быстротой и легкостью мнимые, дутые ценности, которые иным, при благоприятных случайностях, приносят фортуна, у других — рассыпаются в прах от столкновения с действительностью жизни. Примечательно, с какою легкостью ныне создаются репутации, проходится, или лучше сказать, обходится воспитательная дисциплина школы, получают важные общественные должности, сопряженные со властью, раздаются знатные награды. Невежественный журнальный писака вдруг становится известным литератором и публицистом; посредственный стряпчий получает значение пресловутого оратора; шарлатан науки является ученым профессором; недоучившийся неопытный юноша становится прокурором, судьей, правителем, составителем законодательных проектов; былинка, вчера только поднявшаяся из земли, становится на место крепкого дерева... Все это — мнимые, дутые ценности, а они возникают у нас ежедневно во множестве на житейском рынке, и владельцы их носятся с ними точь в точь как биржевики с своими раздутыми акциями. Многие проживут с этими ценностями весь свой век, оставаясь в сущности пустыми, мелкими, бессильными непродуцированными людьми. Но у многих эти ценности вскоре рассыпаются в прах, и владельцы оказываются несостоятельными. Между тем самолюбие успело раздуться до неестественных размеров, претензии и потребности разрослись не в меру, желания раздражены, — а в решительные минуты, когда надобно действовать, не оказывается силы, нет ни разума, ни характера, ни знания. Отсюда множество нравственных банкротств, которые происходят в своем роде от тех же причин, как и банкротства в сфере экономической. Трудно исчислить, сколько гибнет сил в наше время от неправильного, уродливого, случайного их распределения, от неправильного обращения всяческих капиталов на нашем рынке. В результате являются — люди молодые, но уже надломленные, искалеченные, разбитые жизнью. Иные не выносят тяготы своей и, подобно сосуду неравномерно нагретому, лопаются: в нетерпении, они оканчивают жизнь самоубийством, которое, по-видимому, недорого стоит

человеку, когда он привык себя одного ставить центром своего бытия, мерить его материальной мерой, и чувствует, что мера эта ускользает от него и расчеты его спутались. Другие бродят по свету, умножая собою число недовольных, раздраженных, возмущенных против жизни и общества: беда, если их накопится слишком много, и откроются им случаи выместить свою злобу и удовлетворить свою похоть...

II

Древние ставили, говорят, скелет или мертвую голову посреди роскошных пиров своих для напоминания пирующим о смерти. Мы не имеем этого обычая: мы, веселясь и пируя, желаем далече от себя отбросить мысль о смерти. Тем не менее она сама, смерть, за плечами у каждого, и грозный облик ее готов ежеминутно воспрянуть перед очами.

Каждый день приносит нам известия о самоубийствах, то тут, то там случившихся, необъяснимых, неразгаданных, грозящих превратиться в какое-то обыденное, привычное явление нашей общественной жизни... Страшно и подумать, — неужели мы уже привыкли к этому явлению? Когда у нас бывало что-либо подобное, когда ценилась так дешево душа человеческая, и когда бывало такое общественное равнодушие к судьбе живой души, по образу Божьему созданной, кровью Христовой искупленной? Богатый и бедный, ученый и безграмотный, дряхлый и старец, юноша, едва начинающий жить, и ребенок, едва стоящий на ногах своих, — все лишают себя жизни с непонятною, безумною легкостью — один просто, другой драпируя в последний час себя и свое самоубийство.

Отчего это? — Оттого, что жизнь наша стала до невероятности уродлива, безумна и лжива; оттого, что исчез всякий порядок, пропала всякая последовательность в нашем развитии; оттого, что расслабла посреди нас всякая дисциплина мысли, чувства и нравственности. В общественной и в семейной жизни попортились и расстроились все простые отношения органические, на место их протеснились и стали *учреждения* или *отвлеченные начала*, большею частью ложные или лживо приложенные к жизни и действительности. Простые потребности духовной и телесной природы уступили место множеству искусственных потребностей, и простые ощущения заменились сложными, искусственными, обольщающими и раздражающими душу. Самолюбия, выраставшие прежде ровным ростом, в соответствии с

обстановкой и условиями жизни, стали разом возникать, разом подниматься во всю безумную величину человеческого «я», не сдерживаемого никакою дисциплиной, разом вступать в безмерную претензию отдельного «я» на жизнь, на свободу, на счастье, на господство над судьбой и обстоятельствами. Умы — крепкие и слабые, высокие и низкие, большие и мелкие — все одинаково, утратив способность познавать невежество свое, способность учиться, т. е. *покоряться законам жизни*, — разом поднялись на мнимую высоту, с которой каждый большой и малый считает себя судьей жизни и вселенной.

Так накопилась в нашем обществе необъятная масса лжи, проникшей во все отношения, заразившей самую атмосферу, которою мы дышим, среду, в которой движемся и действуем, мысль, которою мы направляем свою волю, и слово, которым выражаем мысль свою. Посреди этой лжи, что может быть, кроме хилого возрастания, хилого существования и хилого действования? Самые представления о жизни и о целях ее становятся лживыми, отношения спутываются, и жизнь лишается той *равномерности*, которая необходима для спокойного развития и для нормальной деятельности. Мудрено ли, что многие не выдерживают такой жизни и теряют окончательно равновесие нравственных и умственных сил, необходимое для жизни? Хрустальный сосуд, равномерно нагреваемый, может выдержать высокую степень жара; нагретый неравномерно и внезапно — он лопаётся. Не то же ли происходит у нас и с теми несчастными самоубийцами, о коих мы ежедневно слышим? Одни погибают от внутренней лжи своих представлений о жизни, когда при встрече с действительностью представления эти и мечты рассыпаются в прах: несчастный человек, не зная кроме своего «я» никакой другой опоры в жизни, не имея вне своего «я» никакого нравственного начала для борьбы с жизнью, бежит от борьбы и разбивает себя. Другие — погибают оттого, что не в силах примирить свой, может быть, возвышенный идеал жизни и деятельности с ложью окружающей их среды, с ложью людей и учреждений: разуверясь в том, во что обманчиво веровали, и не имея в себе другой истинной веры, — они теряют равновесие и малодушно бегут вон из жизни... А сколько таких, коих погубила *власть*, к которой они легкомысленно стремились, которую взяли на себя — не по силам? Наше время — есть время мнимых, фиктивных, искусственных величин и ценностей, которыми люди взаимно прельщают друг друга: дошло до того, что действительному достоинству становится иногда трудно явить и оправдать себя, ибо на рынке людского тщеславия имеет ход только дутая блестящая монета. В такую

эпоху люди легко берутся за все, воображая себя в силах со всем справиться, — и успевают при некотором искусстве проникать, без больших усилий, на властное место. Властное звание соблазнительно для людского тщеславия; с ним соединяется представление о почете, о льготном положении, о праве раздавать честь и создавать из ничего иные власти. Но каково бы ни было людское представление, нравственное начало власти одно, непреложное: «Кто хочет быть первым, тот должен быть всем слугою». Если бы все об этом думали, — кто пожелал бы брать на себя невыносимое бремя? Однако, все готовы с охотою идти во власть, и это *бремя власти* — многих погубило и раздавило, ибо в наше время задача власти усложнилась и запуталась чрезвычайно, особенно у нас. И так много есть людей, перед коими власть, легкомысленно взятая, легкомысленно возложенная, становится роковым сфинксом и ставит свою загадку. Кто не сумел разгадать ее, — тот погибает.

III

Для того, чтоб уразуметь, необходимо подойти к предмету и стать на верную точку зрения: все зависит от этого, и все человеческие заблуждения происходят оттого, что точка зрения неверная. Мы привыкли доверяться своему впечатлению, а впечатление получаем, скользя по поверхности предмета, — что мы умеем делать с ловкостью и быстротою. Довольствуясь впечатлением, мы спешим обнаружить его перед всеми, по свойственному нам нетерпению, высказавшись, соединяем с ним свое самолюбие. Затем лень совокупно с самолюбием не допускает нас взглянуться ближе в сущность предмета и проверить свою точку зрения. Итак, по передаче впечатлений между восприимчивыми натурами образуется, развивается и растет заблуждение, объемлющее целые массы, и нередко принимаемое в смысле общественного мнения.

Это верно и в малом, и в большом. Целые системы мировоззрения господствовали в течение веков, составляя неоспоримое убеждение, доколе не открывалось наконец, что они ложны, ибо исходят из неверной точки зрения. Такова была Птоломеева астрономическая система. Люди в течение веков упорно смотрели на вселенную сбоку, искоса, потому что утвердили на земле свою центральную точку зрения, потому что земля казалась им так безусловно необъятна: иного центра не могли они себе и представить. Система была исполнена путаницы и противоречий, для соглашения коих изобретались наукою искусственные циклы,

эпициклы и т. п. Века проходили так, пока явился Коперник, и вынул фальшивый центр из этой системы. Все стало ясно, как скоро обнаружилось, что вселенная не обращается около земли, что земля совсем не имеет господственного значения, что она не что иное, как одна из множества планет, и зависит от сил, бесконечно превышающих ее мощью и значением.

Птоломеева система давно отжила свой век; но вот — как понять, что в наше время восстанавливается господство ее в ином круге идей и понятий? Разве не впадает в подобную же путаницу новейшая философия, опять от той же грубой ошибки, что *человека* принимает она за центр вселенной и заставляет всю жизнь обращаться около него, подобно тому, как в ту пору наука заставляла солнце обращаться около земли. Видно, ничто не ново под луною. Это *старье* выдается за новость, за последнее слово науки, в коей следуют, одно за другим, противоречия, отречения от прежних положений, новые, категорически высказываемые положения, опровержения на них, с той же авторитетностью высказываемые, поразительные открытия, о коих вскоре открывается, что лучше и не помнить об них. Все это называется прогрессом, движением науки вперед. Но по правде, разве это не те же самые циклы и эпициклы Птоломеевой системы? И когда явится новый Коперник, который снимет очарование и покажет въявь, что центр не в человеке, а вне его, и бесконечно выше и человека, и земли, и целой вселенной?

И разве не то же самое мы видим, например, в истории всех сект, начиная с гностиков¹⁵ или ариан¹⁶, и кончая пашковцами¹⁷, сютяевцами¹⁸, толстовцами¹⁹ и нигилистами? Вся причина в том, что человек, следуя впечатлению, становится на ложную точку зрения; в своем *я* утверждает он эту точку, и ему кажется, что вся вселенная около него движется, — и он ищет правды во всем и всюду, на все и всех негодует, все обличает, исключая себя, с теми же грехами и страстями... Какое странное, какое роковое заблуждение!

IV

Упорство догматического верования всегда было и, кажется, будет уделом бедного, ограниченного человечества, и люди широкой, глубокой мысли, широкого кругозора, всегда будут в нем исключением. Одни верования уступают место другим — меняются догматы, меняются предметы фанатизма. В наше время умами владеет, в так называемой интеллигенции, вера в общие

начала, в логические построения жизни и общества по общим началам. Вот новейшие фетиши, заменившие для нас старых идолов, но, в сущности, и мы, так же, как прапрадеды наши, творим себе кумира и ему поклоняемся. Разве не кумиры для нас такие понятия и слова, как, например, *свобода, равенство, братство*, со всеми своими применениями и разветвлениями? Разве не кумиры для нас общие положения, добытые учеными и возведенные в догмат, например, происхождение видов, борьба за существование и т. п.?..

Вера в общие начала есть великое заблуждение нашего века. Заблуждение состоит именно в том, что мы веруем в них догматически, безусловно, забывая о жизни со всеми ее условиями и требованиями, не различая ни времени, ни места, ни индивидуальные особенности, ни особенностей истории.

Жизнь — не наука и не философия; она живет сама по себе, живым организмом. Ни наука, ни философия не господствуют над жизнью, как нечто внешнее: они черпают свое содержание из жизни, собирая, разлагая и обобщая явления жизни, но странно было бы думать, что они могут обнять и исчерпать жизнь со всем ее бесконечным содержанием, дать ей содержание, создать для нее новую конструкцию. В применении к жизни всякое положение науки и философии имеет значение *вероятного* предположения, гипотезы, которую необходимо всякий раз проверить здравым смыслом и искусным разумом по тем явлениям и фактам, к которым требуется приложить ее: иное применение общего начала было бы насилием и ложью в жизни. Одно то уже должно смутить нас, что в науке и философии очень мало бесспорных положений: почти все составляют предмет пререканий между школами и партиями, почти все колеблется новыми опытами, новыми учениями. Нет ни одной *прикладной к жизни* науки, которая представляла бы цельную одежду: всякая спита из лоскутов, более или менее искусно, с изменением покроя по моде, — а иногда куски эти висят в клочках, разодранные школьной полемикой различных учений. Между тем, представители каждой школы в науке веруют в положения свои догматически и требуют безусловного применения их к жизни? Стоит привести в пример хоть политическую экономию: экономисты составили себе репутацию величайших педантов и догматиков потому, что хотят непременно вторгнуться в жизнь, в законодательство, в промышленность непререкаемую властью, со своими общими законами производства и распределения сил и капиталов; но при этом все более или менее забывают о живых силах и явлениях, которые в каждом данном случае составляют элемент, *противо-*

действующий закону, возмущающий его операцию. Они вывели формулу из великого множества фактов и явлений, но не могли исчерпать всего бесконечного их разнообразия, всего ряда комбинаций, которые в каждом данном случае представляются. И эти формулы были великим благодеянием для науки, которая, благодаря им, уяснилась и двинулась вперед, но ни одна из них не составляет неподвижного, безусловного закона для жизни: каждая служит только указанием для исследования, каждая выражает только известное движение, направление силы, которая в данном случае непременно возмущается или уравнивается другими силами, действующими в противоположных направлениях. Исчислить математически действие этих сил невозможно, их можно распознать только верным чутьем практического смысла, и потому общие заключения и выводы политической экономии, хотя и сделанные из бесспорных фактов, имеют только предположительное, гипотетическое значение, а не значение решительного, безусловного закона. Так и будет разуместь их всегда истинный ученый, не зараженный педантизмом книжной науки. Но таковы далеко не все ученые. Что же сказать о массе, о тех поверхностных читателях, законодателях, юристах, администраторах, которые большею частью *слышали звон, да не знают, где он*, которые почерпают изредка все свое знание из нескольких страниц руководства, из современной журнальной статьи, и любят, без дальних исследований, находить в минуту для каждой задачи готовое решение в статье указателя за номером и печатью? Для них каждое общее положение служит непререкаемым «авторитетом науки», дешевым средством для готового решения важнейших вопросов жизни и удобным оружием, которым отражаются все аргументы здравого смысла, опровергаются зараз все факты истории и практики. Благодаря этим-то общим положениям и началам ныне так легко стало самому пустому и поверхностному уму, самому бездельному и равнодушному пролазу, с помощью фразы, прослыть за глубокого философа, политика, администратора, и одержать дешевую победу над здравым смыслом и опытом. Такой ученый может вспрыгнуть разом на «высоту науки и современной мысли». На этой высоте кто в силах ему противиться?

Масса *не может* принять общего положения в истинном, условном его значении: разумению массы доступно всякое правило, всякое явление только в живом, конкретном образе и представлении. Великая ошибка нашего века состоит в том, что мы, воспринимая сами с чужого голоса фальшивую веру в общие отвлеченные положения, обращаемся с ними к народу. Это —

новая игра в общие понятия, пущенная в ход идеалистами народного просвещения в наше время, игра слишком опасная, потому что она ведет к разращению народного сознания. В эту игру играет, к сожалению, слишком часто, с народом — наша *школа*; но прежде всего в нее начали играть народные правительства, и многие уже дорого за нее заплатились, — заплатились *правдою нравственного отношения* к народу. Одна ложь производит другую; когда в народе образуется ложное представление, ложное чаяние, ложное верование, правительству, которое само заражено этою ложью, трудно вырвать ее из народного понятия; ему приходится считаться с нею, играть с нею вновь и поддерживать свою силу в народе искусственно, новым сплетением лжи в учреждениях, в речах, в действиях, — сплетением, неизбежно порожденным первою ложью.

Это можно видеть всего явственнее на примере Франции. В прошлом столетии фантазия идеалистов-философов издала новое евангелие для человечества, — евангелие, которое все составилось из идеализаций и отвлеченных обобщений. Школа Руссо показала человечеству в розовом свете натурального человека и провозгласила всеобщее довольство и счастье на земле — по природе; она раскрыла перед всеми вновь разгаданные, будто бы, тайны общественной и государственной жизни, и вывела из нее мнимый закон контакта между народом и правительством. Появилась знаменитая *схема* народного счастья, издан рецепт мира, согласия и довольства для народов и правительств. Этот рецепт построен был на чудовищном обобщении, совершенно отрешенном от жизни, и на самой дикой, самой надутой фантазии, тем не менее, эта ложь, которая, казалось, должна была рассыпаться при малейшем прикосновении с действительностью, заразила умы страстным желанием применить ее к действительности и создать, на основании рецепта, новое общество, новое правительство. Еще шаг — и из теории Руссо вырождается знаменитая формула: *свобода, равенство, братство*. Эти понятия заключают в себе вечную истину нравственного, идеального закона, в нераздельной связи с вечною идеей долга и жертвы, на которой держится, как живое тело на костях, весь организм нравственного мирозерцания. Но когда эту формулу захотели обратить в обязательный закон для общественного быта, когда из нее захотели сделать *формальное право*, связующее народ между собою и с правительством во внешних отношениях, когда ее возвели в какую-то новую религию для народов и правителей, — она оказалась роковою ложью, и идеальный закон любви, мира и терпимости, сведенный на почву внешней законности, явился

законом насилия, раздора и фанатизма. Общие положения эти брошены были в массу народную не как евангельская проповедь любви, не как воззвание к долгу во имя нравственного идеала, но как слово завета между правительством и народом, как объявление новой эры естественного блаженства, как торжественное обетование счастья. *Иначе не мог народ ни принять, ни понять это слово.* Масса не в состоянии философствовать; и свободу, и равенство, и братство она приняла *как право свое*, как состояние, ей присвоенное. Как ей, после того, помириться со всем, что составляет бедствие жалкого бытия человеческого — с идеей бедности, низкого состояния, лишения, нужды, самоограничения, повиновения? Терпеть невозможно, масса ропщет, негодует, протестует, волнуется, ниспровергает учреждения и правительства, не сдержавшие слов, не осуществившие ожиданий, возбужденных фантастическим представлением, созидает новые учреждения и вновь разрушает их, бросается к новым властителям, от которых слышала то же льстивое слово, и — низвергает их, когда и они не в состоянии удовлетворить ее. И править эту массу стало уже невозможно прямым отношением власти, без льстивых слов, без льстивых учреждений; правительству приходится вести игру и передергивать карты. Жалкий и ужасный вид хаоса в общественном учреждении: с шумом мечутся во все стороны волны страстей, успокаиваясь на минуту, под волшебные звуки слов: свобода, равенство, публичность, верховенство народное... и кто умеет искусно и вовремя играть этими словами, тот становится народным властителем...

V

В древнем Риме расселась однажды земля: открылась бездонная пропасть, угрожавшая поглотить весь город. Как ни трудились, как ни старались поправить беду, — ничто не удавалось. Тогда обратились к оракулу; оракул ответил, что пропасть закроется, когда Рим принесет ей в жертву первую свою драгоценность. Известно, что за тем последовало. Курций, первый гражданин Рима, доблестный из доблестных, бросился в пропасть, и она закрылась.

И у нас, в новом мире, открывается страшная бездонная пропасть, — пропасть пауперизма²⁰, отделяющая бедного от богатого непроходимую бездной. Чего мы не ввергаем в нее для того, чтобы ее наполнить! целыми возами деньги и всяческие капиталы, массу проповедей и назидательных книг, потоки энтузиаз-

ма, сотни и тысячи придуманных нами общественных учреждений — и все пропадает в ней, и бездна зияет перед нами по-прежнему. Нет ли и у нас оракула, который возвестил бы нам верное средство? Слово этого оракула давно сказано и всем нам знакомо: «заповедь новую даю вам — да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы друг друга любите». Если б умели мы углубиться в это слово и взойти на высоту его, если б решились мы бросить в бездну то, что всего для нас драгоценнее — наши теории, наши предрассудки, наши привычки, связанные с исключительностью житейского положения, в котором каждый утвердил себя, — мы принесли бы себя самих в жертву бездне, — и она навсегда бы закрылась.

VI

Самое правое чувство в душе человеческой остается истинным чувством лишь дотоле, пока держится в *свободе* и охраняется *простотою*: что просто, только то право. Но камень преткновения для всякого простого чувства — это отражение в самосознании человека — это рефлексия. Чувство приобретает особую силу, когда укрепляется в душе сознанием, объединяется с идеею; но тут же оно подвергается опасности пережить себя в идее, поколебаться в простоте своей. Случается, что чувство, опираясь на идею и обобщаясь в ней, разрешается в формулу сознания — и в ней выдыхается. Форма, как и буква, может убить дух животворный. Форма обманывает, потому что под формою незаметно развивается лицемерие, самообольщение человеческого *я*. Что светлее, что драгоценнее, что плодотворнее простого чувства любви в душе человеческой! Но с той минуты, как оно соединилось с идеей, — ему предстоит опасность от той же рефлексии. И оно может создать для себя форму, разбиться на виды, пути, категории, порядки, учения. Так приходит, наконец, такая минута, что не чувство простое и цельное наполняет душу и оживляет ее, — а бедное *я* человеческое начинает воображать, что оно владеет чувством, или идеей чувства, служит его *носителем* и деятелем. Здесь конец простоте, здесь начинается разложение чувства и легко может перейти в лицемерие. Умножится, может быть, количество дел любви, установятся в них порядки, но простоты чувства уже нет, — благоухание его пропало.

Приходят в голову эти мысли, когда смотришь на деятельность наших организованных благотворительных учреждений и

обществ, с их уставами, собраниями, почетными членами, почетными наградами и пр. Все учреждение по идее посвящено любви и благотворительности, но при виде происходящих в нем явлений, нередко спрашиваешь: где же обретается тут место простому чувству любви сострадательной и деятельной? Видишь собрание, на коем произносятся речи, видишь мужские и дамские комитеты, куда съезжаются со скукой и равнодушием лица, вовсе незнакомые с делом, обсуждать какие-то правила и параграфы, видишь бумаги, составленные секретарем, коему выпрашиваются за то награды и пособия; слышишь напыщенные рассуждения самозванных педагогов о школьных системах и методах преподавания; видишь — о, верх общественного лицемерия! — благотворительные базары, на коих иная продавщица-дама, ничего от себя не жертвующая, носит на себе костюм, стоящий иной раз не менее того, что выручается от целой продажи, — и это называется делом любви христианской!..

Эта любовь в виде общественного учреждения. Но вот еще — *правда*, правда, на которой мир стоит и держится, правда, без которой жизнь становится каким-то маревом дикого воображения, — чем она является в новейшей, искусственной, выглаженной и выстроганной по европейской моде, — форме судебного учреждения! Мы видим машину для *искусственного делания* правды, но самой правды не видно в торжественной суеде машинного производства, не слышно в шуме колес громадного механизма. Вы ищите нравственной силы — увы! едва ли не вся сила, какая есть в действии машины, уходит на *трение* колес, совершающих непрерывное движение, — едва ли не все нравственные усилия деятелей уходят на *смазку* этих колес и проводников к ним. Заседают суды, в величавом сознании своего жреческого достоинства, и, подобно древним авгурам, слушают, сколько вместит внимание; ораторствуют адвокаты, проводя величавые слова и громкие фразы по узеньким коридорам и трубочкам хитросплетенного мышления, и заранее взвешивая на звонкую монету каждый из длинных своих периодов; тянутся длинные, томительные часы словесной пытки, а между тем главная жертва этой пытки, злосчастная *правда*, должна переходить в обетованный рай по тонкому волоску Магометова моста²¹: горе тому, кто положится при этом переходе на свою собственную силу. Прав только тот, кто, изучив прежде в совершенстве искусство акробата, сумеет не оступиться и не упасть на дороге...

VII

Вся жизнь человеческая — искание счастья. Неутолимая жажда счастья вселяется в человека с той минуты, как он начинает себя чувствовать, и не истощается, не умирает до последнего издыхания. Надежда на счастье не имеет конца, не знает предела и меры: она безгранична, как вселенная, и нет ей конечной цели, потому что начало ее и конец — в бесконечном. Это бесконечное стремление к счастью одна монгольская сказка олицетворяет в виде матери, потерявшей любимую дочь, единственное дитя свое. Грубая фантазия степного жителя представляет эту мать в виде старой женщины с одним глазом на самой макушке. С воплем ходит она по свету, отыскивая потерянное дитя свое, и подходит по временам то к тому, то к другому предмету — туда, где ей чудится, не дитя ли свое она встретила. Она хватает руками свою находку, уносит ее и потом высоко поднимает над головою, чтобы удостовериться, точно ли нашла свое сокровище. Но лишь только вглядывается в нее единственным глазом, как видит, что ошиблась, и с отчаянием бросает на землю и разбивает находку свою, и опять идет по свету на поиск. Счастье, которого ищет человек, определяет судьбу его, отзывается в ней *несчастьем*. «Несчастье человека, — сказано у Карлейля, — происходит от его величия: оттого он несчастен, что в нем самом — бесконечное, и это бесконечное человек, при всем своем искусстве, при всем старании, не в силах совершенно заключить и закопать в конечном».

Стало быть, невозможно счастье, потому что оно необъятно. Но отчего же вместе с сознанием этой необъятной цели в душе человеческой так живо сознание настоящего, и отворачиваясь с отчаянием от будущего, обращается к прошедшему и находит эту возможность там? У редкого человека нет в прошедшем такой поры, про которую говорит дума его: «а счастье было так возможно, так близко»!

Счастье отлетело от человека с той минуты, как он захотел *овладеть* бесконечным, сделать его своим, *познать* его. «Будете знать добро и зло, будете как боги». Этого знания не получил он, но в нем произошло *раздвоение*, и с тех пор одна половина его ищет другую для того, чтобы восстановить единство и целостность сознания и жизни.

Если есть где что-либо подходящее к званию счастья, так есть разве у иных, немногих, в той поре простого бытия и простого сознания, когда душа ощущает жизнь в себе и покоится в чувстве жизни, не стремясь знать, но отражая в себе бесконечное, как

капля чистой воды на ветке отражает в себе солнечный луч. Если есть у кого такая пора, дай только Боже, чтоб она длилась дольше, чтоб сам человек по своей воле не стремился из судьбы своей в новые пределы. Дверь такого счастья *не внутрь отворяется*: нажимая ее *изнутри*, ее не удержишь на месте. Она *отворяется изнутри*, и кто хочет, чтоб она держалась, *не должен трогать ее*.

Прошедшее свое мы осудили, осудили за то, что не распознаем в нем тех *принципов*, которые составляют для нас мерило истины и благополучия. По кодексу этих принципов, из коих главный есть *равенство*, — хотим мы переделать жизнь, отвести в другую сторону старые ключи ее, которыми питались прежние поколения, расположить ее вновь по сочиненному нами плану — и составляем и пересоставляем этот план по правилам науки, причем нередко обличаем в себе глубокое невежество в той самой науке, по которой планы составляются. Не беда! — говорим мы смело: — жизнь исправит ошибки нашего плана, и противоречим себе сами, ссылаясь на жизнь, которой знать не хотели, когда принимались за план свой. Жизнь на каждом шагу обличает нас следами неправды, вместо той правды, которую мы обещали внести в нее; явлениями эгоизма, корыстолюбия, насилия, — вместо любви и мира; язвами бедности и оскудения вместо богатства и умножения силы; жалобами и воплями недовольства — вместо того довольства, которое мы пророчили. Не беда! — повторяем мы громче и громче, стараясь заглушить все вопросы, сомнения и возражения: — лишь бы *принципы* нашего века были сохранены и поддержаны. Что нужды, если страдает современное поколение; что за беда, если вместо крепких людей являются отовсюду дрянные людишки; пусть будет сегодня плохо: завтра, послезавтра будет лучше. Новые поколения процветут на развалинах старого, — и наши принципы оправдают себя блистательно в новом мире, в потомстве, в будущем... Мечты, которыми наполнена жизнь наша и деятельность, осуществляются же когда-нибудь после... Увы! разве осуществляются они в таком смысле, как случилось со Свифтом: в молодости он *устроил дом сумасшедших*, и под старость нашел себе приют *в этом самом доме*.

VIII

Как редко общественные отношения наши бывают просты и непосредственны! Как редко приходится, встречая людей, вести

и продолжать беседу с ними простым и естественным обменом мысли! Когда живешь в так называемом обществе, приходится ежеминутно вступать в отношения с людьми, с которыми у тебя нет ничего общего, кроме человечества. Некогда останавливаться, некогда высматривать и выжидать молча, в спокойном состоянии: если бы я захотел поступить так, другой, кто ко мне подошел, кого познакомили со мною, не допустил бы до этого. Надобно в ту же минуту завязывать сношение, и приличие требует, чтобы оно казалось естественным. Надобно говорить, и разговор вступает немедленно на дряблую почву легкой пошлости, на обмен фраз о предметах (как в свидетельстве сумасшедшего) «до обыкновенной жизни касающихся». Люди подходят друг к другу со стороны «пошлости», которой довольно у каждого, — и нередко случается, что при всех дальнейших встречах случайная их беседа не сходит с этой почвы, на которую оба сразу ступили. Но бывает и еще хуже: люди с первого шага начинают кривляться и ломаться друг перед другом. Это случается всего чаще при *неравных* встречах, т. е. когда один, представляя себе в другом нечто особенное или знаменитое, с своей точки зрения, желает поставить себя вровень с ним на социальной почве, не ударить лицом в грязь, выказаться. С другой стороны, кто же не воображает в себе самом какой-нибудь особенности или знаменитости? Так начинается дуэль двух маленьких, иногда очень маленьких *я*, и у каждого все помышления направлены к тому, чтобы выказать себя, не уступить другому, возбудить о себе в другом по возможности блестящее представление. Блестеть предполагается обыкновенно умом, — а кто не признает в себе ума или остроумия, или житейской опытности, заменяющей, а иногда и превосходящей ум? Какая обширная практика, какое нескончаемое поприще для пошлости мелкого *самолюбия*!

К ней присоединяется еще пошлость *любезности*. Всякая добродетель общественной жизни имеет оборотную сторону пошлости, и эта сторона выказывается там, где добродетель принимает вид общественного приличия, общественного обычая, размениваясь на мелкую монету известного чекана. Сколько выпущено у нас в обращение такой разменной монеты, и как уже вся она перетерлась, какая стала слепая, переходя ежеминутно из рук в руки — и через какие руки! Лучшие слова потеряли свое первоначальное значение, перестав быть правым выражением мысли; самые глубокие истины опошлись, являясь в рубище ходячего слова; драгоценнейшие чувства износились и истрепались на людях, выставляясь напоказ встречному и поперечному!

Надо быть умным, надо быть любезным — вот два главные мотива, возбуждающие нашу деятельность в беседной встрече. И мы привыкли явную пошлость первого мотива оправдывать видимою уважительностью последнего. Совесть шепчет: сколько говорил ты вздору! как ты рисовался! сколько притворного напускал на себя! как играл словами! — У нас готово возражение: я старался быть *любезным*; надобно было оживить речь в собрании, пособить хозяину или хозяйке устроить, чтобы не скучно было.

Однако, совесть права, и пошлость напрасно стала бы прикрывать и оправдывать себя любезностью. Из-за одной любезности, — без побуждений мелкого самолюбия, — не стал бы человек, уважающий себя и слово свое, в течение целых часов играть в пошлую игру фразами, настраивать себя, по мере надобности, на тон любви и негодования, ходить на ходулях, раскрашивать придуманные рассказы и сочиненные ощущения и давать волю насмешке и остроумному злословию там, где открывались виды на слабости и грешки ближнего.

IX

Деятнадцатый век справедливо гордится тем, что он век преобразований. Но преобразовательное движение, во многих отношениях благодетельное, составляет в других отношениях и язву нашего времени. Ускоренное обращение анализирующей и преобразующей мысли в наших жилах дожило, кажется, до лихорадочного состояния, от которого едва ли не пора уже нам лечиться успокоением и диетой; а покуда продолжают еще пароксизмы возбужденной мысли, трудно поверить, чтобы деятельность ее была здоровая и плодотворная. Жизнь пошла так быстро, что многие с ужасом спрашивают: куда мы несемся и где мы упокоимся? Если мы летим вверх, то уже скоро захватит у нас дыхание; если вниз — то не падаем ли мы в бездну?

С идеей преобразования происходит то же, что со всякою новою, в существе глубокою и истинною, идеей, когда она *пошла в ход*. Вначале она является достоянием немногих глубоких умов, горящих огнем мысли, проживших и прочувствовавших глубоко то, что проповедуют и к осуществлению чего стремятся. Потом, когда, распространяясь дальше и дальше, идея становится достоянием массы и переходит в то состояние, в котором слово принимается на веру, лишь только произнесено, идея переходит на рынок и на этом рынке опошливается, мельчает. В минуту

сильного возбуждения великие поборники движения поднимают *знамя*, и когда они несут его, знамя это служит подлинно символом великого дела, скликающим на служение делу; но когда знамя это переходит на людской рынок и мальчишки начинают с ним прогуливаться в пору и не в пору, составляя игру с бессмысленными криками, тогда знамя теряет свой смысл, и люди серьезные, люди дела начинают сторониться оттуда, где это знамя показывается.

Есть эпохи, когда преобразование является назревшим плодом общественного развития, выражением потребности, всеми ощущаемой, развязкою узлов, веками сплетенных в общественных отношениях; преобразователь является пророком, изрекающим слово общественной совести, и осуществляет мысль, которую все в себе носят.

Слова его и дела его властвуют над всеми, потому что свидетельствуют об истине, и все, кто от истины, отзываются на это слово. Но когда дело его совершилось, — является иногда вслед его полчище лживых пророков. Все хотят быть пророками, от мала до велика, у всех на устах новое слово, не выношенное в душе, не прогоревшее в жизни, дешевое и потому гнилое, схваченное на людском рынке и потому опошленное. Всякий, кто не делал никакого дела и кому лень делать дело, к которому при- ставлен, сочиняет проект нового закона или строит себе маленькую кафедру, с которой проповедует преобразование, требуя, чтобы дело, которого он не делал и потому не знает, было поставлено в новой форме и на новом основании. Таковы *малые*; что же сказать о *великих*, страдающих наравне с малыми преобразовательною горячкой?

Общая и господствующая болезнь у всех так называемых государственных людей — честолюбие или желание прославиться. Жизнь течет в наше время с непомерной быстротою, государственные деятели часто меняются, и потому каждый, покуда у места, горит нетерпением прославиться поскорее, пока еще есть время и пока в руках кормило. Скучно поднимать нить на том месте, на котором покинул ее предшественник, скучно заниматься мелкою работою организации и улучшения текущих дел и существующих учреждений. И всякому хочется переделать все свое дело заново, поставить его на новом основании, очистить себе ровное поле, *tabula rasa*²², и на этом поле творить, ибо всякий предполагает в себе творческую силу. Из чего творить, какие есть под рукою материалы, — в этом редко кто делает себе явственный отчет с практическим разумением дела. Нравится именно высший прием творчества — *творить из ничего*, и возбуж-

денное воображение подсказывает на все возражения известные ответы: «учреждение само поддержит себя, учреждение создаст людей, люди явятся», и т. п. Замечательно, что этот прием тем соблазнительнее, тем сильнее увлекает мысль государственно-го деятеля, чем менее он приготовлен знанием и опытом к своему званию. Этот прием соблазнителен еще и тем, что, прикрывая действительное знание, он дает широкое поле действию политического *шарлатанства* и помогает прославиться самым дешевым способом. Где требуется деятельное управление делом, знание дела, направление и усовершенствование существующего, там опытного и знающего нетрудно распознать от невежды и пустозвона; но где начинают с осуждения и отрицания существующего и где требуется организовать дело вновь, по расхваленному чертежу, на прославленных началах — там чертеж и начало на первом плане, там можно без прямого знания дела аргументировать общими фразами, внешним совершенством конструкции, указанием на образцы, существующие где-то за морем и за горами; на этом поле нелегко бывает отличить умелого от незнающего и шарлатана от дельного человека; на этом поле всякий *великий* человек может, ничего не смысля в деле и не давая себе большого труда, защищать какой бы то ни было проект преобразования, составленный в подначальных канцеляриях кем-нибудь из *малых* преобразователей, подстрекаемых тоже желанием дешево прославиться.

Это удивительное явление следует причислить, поистине, к знамениям нашего времени, — а оно заметно повсюду, хотя не всюду в одинаковой мере и степени: в любом правлении, в любом совещательном собрании или комнате. Разумеется, всего явственнее выражается оно там, где менее заложено в прошедшей истории твердых учреждений, где нет старинной, веками утвердившейся школы и дисциплины, где жизнь общественная в историческом своем развитии не выработала определенных разрядов, стенок и клеточек, полагающих преграду вольному устройству быта и порыву мысли и желания. Где шире и вольнее историческое и экономическое поле, там есть где разгуляться каким угодно преобразовательным фантазиям, — там нет иногда и борьбы, нет и затруднительного расчета с утвердившимися идеями, интересами и партиями, но полная свобода широкому размаху руки, натиску груди, быстрому полету первого наездника...

А наряду с этим явлением, происходящим на вершинах, совершается другое подобное же движение из долин, ущелий и пропастей земных. Оно также преобразовательно, но в ином,

совсем уже безусловном смысле. Масса людей, недовольных своим положением, недовольных тем или другим состоянием общественным и ослепленных или диким инстинктом животной природы, или идеалом, созданным фантазией узкой мысли, — отрицая всю существующую, выработанную историей экономии общественных учреждений, отрицая и Церковь, и государство, и семью, и собственность, — стремится к осуществлению дикого своего идеала на земле. И эти люди требуют, чтобы проповедуемое ими преобразование началось сначала, т. е. на ровном поле, *tabula rasa*, которое хотя бы они прежде всего расчистить на обломках существующих учреждений.

Это враги цивилизации, — вопиют по всей Европе государственные люди, и во имя цивилизации вооружаются против массы непризнанных преобразователей. Но не время ли им самим, защитникам существующего порядка, подумать о том, что сами они первые стремятся иногда слишком легкомысленно налагать смелую руку на существующее, разрушать старые здания и строить на место их новые, сами они слишком беззаботно и самоуверенно спешат осуждать утвердившиеся порядки и разрушать предания и обычаи, созданные народным духом и историей; сами они, строя громаду новых законов, которые прошли мимо жизни и с которыми жизнь не может справиться, — насилуют, в сущности, те самые условия действительной жизни, которые отрицает решительно масса отъявленных врагов цивилизации. Борьба с ними может быть успешна лишь во имя жизненных начал и на почве здоровой действительности...

Слово *преобразование* так часто повторяется в наше время, что его уже привыкли смешивать со словом — *улучшение*. И так, в ходячем мнении поборник преобразования есть поборник улучшения, или, как говорят, *прогресса*, и, наоборот, кто возражает против необходимости и пользы преобразования, какого бы то ни было, в новых началах, тот враг прогресса, враг улучшения, чуть ли не враг добра, правды и цивилизации. В этом мнении, пущенном в оборот на рынке нашей публичности, заключается великое заблуждение и обольщение. В силу этого мнения здравому смыслу, здравому взгляду на предмет, становится трудно проложить себе дорогу и пробиться сквозь предрассудок, — и конкретное, реальное, здоровое воззрение уступает место воззрению отвлеченному от жизни и фантастическому; люди дела и подлинного знания принуждены сторониться от дела и теряют кредит перед людьми отвлеченной идеи, окутанной фразою. Напротив того, кредитом пользуется от первого слова тот, кто выставляет себя представителем новых начал, поборником пре-

образований, и ходит с чертежами в руках для возведения новых зданий. Поприще государственной деятельности наполняется все *архитекторами*, и всякий, кто хочет быть работником, или хозяином, или жильцом, — должен выставить себя архитектором. Очевидно, что при таком направлении мысли и вкуса открывается безграничное поле всякому шарлатанству, всякой ловкости лицемерия и бойкости невежества. С другой стороны, деятельность положительная, практическая, затрудняется чрезмерно, когда она совершается посреди общего настроения к анализу и критике, к проверке всякого дела общими началами, общими фразами, преобладающими в общественной среде. Тому, кому следовало бы сосредоточить все внимание и все силы на своем деле и на том, как лучше и совершеннее исполнять его, — приходится непрерывно считаться с мнением о деле, думать о том, как оно *покажется*, какое произведет впечатление и в обществе, и в начальстве, если это начальство пробует все на том же камне новой идеи, нового направления. Так развлекается попусту на критику и на борьбу с критикою, по большей части пустою, масса великих сил, которые могли бы совершить великое дело; так много времени уходит у деятелей на это механическое трение, на эту бесплодную борьбу с возбужденной мыслью, что немного уже остается его для действительной, сосредоточенной деятельности. Человек окружен со всех сторон призраками и образами дела, которые тревожат его, но истинное, реальное дело исчезает у него под руками — и не делается. Такого положения не могут вытерпеть лучшие, правдивые деятели. Они чувствуют в себе силу, когда имеют дело с *реальностями* жизни, с фактами и живыми силами; тогда они *веруют* в дело, и эта *вера* дает им возможности *творить чудеса* в мире реальностей. Но они теряют дух, когда приходится им орудовать с образами, призраками, формами и фразами; теряют дух, потому что не чувствуют веры, а без веры — мертва всякая деятельность. Мудрено ли, что лучшие деятели отходят, или, что еще хуже и что слишком часто случается, — не покидая места, становятся равнодушны к делу и стерегут только вид его и форму, ради своего прибытка и благосостояния...

Вот каковы бывают иногда плоды преобразовательной горячки, когда она свыше меры длится. Какой врач вылечит от нее современное общество, современных деятелей? Какой богатырь направит силы наши на действительные *улучшения*, в которых мы так много и со всех сторон нуждаемся и которых жаждет жизнь действительная? Нам говорят: подождите еще немного: вот поднимутся таинственные покровы преобразований — и явит-

ся из-под них новая, девственная жизнь в полноте красоты и силы, и засияет новая заря, и откроется страна, медом и млеком текущая. И мы ждем давно, но все не шевелятся покровы, новый мир не является, наша «незнакомка спит глубоким сном», и к прежним покровам прибавляются только новые.

Между тем стоит только пройти по улицам большого или малого города, по большой или малой деревне, чтоб увидеть разном и на каждом шагу, в какой бездне улучшений мы нуждаемся и какая повсюду лежит безобразная масса покинутых дел, пренебреженных учреждений, рассыпанных храмин. Вот школы, в которых учитель, покинув детей, составляет рефераты о методах преподавания и фразистые речи для публичных заседаний; вот учебные заведения, где под видом и формой преподавания, обучение не производится, и бестолковые учителя сами не знают, чему учить и чего требовать в смешении понятий, приказаний и инструкций; вот больница, в которую боится идти народ, потому что там холод, голод, беспорядок и равнодушие своекорыстного управления; вот общественное хозяйство, на котором деньги собираются большие и никто ни за чем не смотрит, кроме своего прибытка или тщеславия; вот библиотека, в которой все разрознено, растеряно и распущено, и нельзя найти толку ни в употреблении сумм, ни в пользовании книгами; вот улица, по которой пройти нельзя без ужаса и омерзения от нечистот, заражающих воздух, и от скопления домов разврата и пьянства; вот присутственное место, призванное к важнейшему государственному отправлению, в котором водворился хаос неурядицы и неправды, за неспособностью чиновников, туда назначаемых; вот департамент, в который, когда ни придешь за делом, не находишь нужных для дела лиц, обязанных там присутствовать; вот храмы — светильники народные, оставленные посреди сел и деревень запертыми, без службы и пения, и вот другие, из коих, за крайним бесчинием службы, не выносит народ ничего, кроме хаоса, неведения и раздражения... Велик этот свиток, и сколько в нем написано у нас *рыдания, и жалости, и горя!*

Вот жатва, на которую требуются деятели, куда надобно направить личные силы мысли, любви и негодования, где потребны не законодательные приемы преобразования, отвлекающие только силу, а приемы правителя и хозяина, — собирающие силу к одному месту для возделывания и улучшения. Вот истинная потребность нашего времени и нашего места — и ею-то пренебрегает наш век из-за общих вопросов, из-за громких слов, звенящих в воздухе. «Не расширяй судьбы своей, — было вещание древнего оракула. — Не стремись брать на себя больше, чем на

тебя положено». Какое мудрое слово! Вся мудрость жизни — в сосредоточении мысли и силы, все зло — в ее рассеянии. Делать — значит не теряться во множестве общих мыслей и стремлений, но выбрать себе дело и место в меру свою, и на нем копать, и садить, и возделывать, к нему собирать потоки жизненной силы, в нем восходить от работы к знанию, от знаний к совершению и от силы в силу.

Х

Богатство приводит в движение множество низких побуждений человеческой природы. Богатство налагает на человека тяжелые повинности, связывает его свободу во многом. Одна из самых ощутительных невзгод для богача — то, что он становится предметом эксплуатации, около него образуется сплетение лжи всякого рода. Если бы не притуплялось в нем чувство, — он чувствовал бы ежеминутно, что отношения его к людям переменились, что многие — даже из самых близких к нему лиц, — подходят к нему не просто; и что для великого множества людей, входящих с ним в отношения, личность его совсем исчезает, а место ее занимают внешние черты его, черты принадлежащего ему капитала. Для чувствительной души такое положение несносно, и потребна большая простота души богатому человеку для того, чтобы он сумел сохранить в себе ясное и благоволительное отношение к людям и не обезумел бы, не опошил бы сам от всей той пошлости, которая вокруг него поднимается и выказывается под влиянием представления об его богатстве.

Подобной же участи подвергается и другая сила человеческая — *ум*, особенно ум из ряда выходящий, господственный. Когда умный человек приобретает авторитет, входит в славу между людьми, — поднимаются около него пошлые побуждения человеческой природы. Сближение с ним ставят себе в честь; люди начинают подходить к нему не просто, а с заднею мыслью — показаться перед ним умными людьми и возбудить его внимание. Когда умный человек входит в моду, нет такой пошлости, которая не пыталась бы надевать на себя перед ним маску умного человека и кривляться перед ним со всею аффектацией, на которую способна пошлость. Это ощущение лжи и аффектации для умного человека было бы нестерпимо и заставило бы его бежать от людей, когда бы сам он не подвергался действию той же пошлости. Оттого мы встречаем нередко умных людей, которые, привыкая к аффектации, рисуются перед окружающею

их пошлостью мелких умов, и охотнее вступают в общение с ними, нежели с равными себе. Немногие умы свободны от этой слабости тщеславия.

Жена Карлейля в одном из своих остроумных писем к мужу говорит: «Вчера была у меня мистрис N. Мы долго с нею беседовали, и наша беседа показалась бы очень интересной даже тебе, если бы ты мог тут же быть невидимкою, — но непременно невидимкою, в волшебном плаще. — Кого считают “мудрецом и глубочайшим мыслителем нашего века”, тому приходится жить одному, в тяжком, можно сказать, царственном уединении. Он осужден — ни от кого не слышать простого слова, в простоте сказанного, — всякая речь подходит к нему украшенная, в наряде. Вот отчего Артур Шельпс (известный писатель) и многие другие говорят со мною очень просто, очень умно и занимательно, — а с тобой начнут говорить — и приводят тебя в томительную тоску. Со мной они не боятся становиться на скромную почву своей собственной личности, какова она есть. А с тобой — они представляют из себя Талиони и принимаются балансировать, поднимаясь на носки умственного или нравственного величия».

XI

В темные эпохи истории бывало такое состояние общества, в котором над всеми гражданами тяготело чувство взаимного недоверия и подозрения. Современники с ужасом рассказывают о своей эпохе или о своем городе, что люди боятся прямо смотреть в глаза друг другу, боятся сказать вслух близких и домашних свободное, нелицемерное слово или отдаться вольному душевному движению, чтобы оно не было подхвачено, перетолковано и не послужило бы поводом к жестокому преследованию, во имя государства или начала общественной безопасности. Из темных углов и из последних слоев общества поднимается и сама собою образуется в корпорацию прибыльная профессия доносчиков; тайная сила, пред которою все преклоняются, все молчат в страхе или, когда молчать невозможно, одевают мысль свою в лживые, льстивые и лицемерные формы.

Читая такие рассказы из времен нашей бироновщины²³ или из эпохи французского террора²⁴, мы радуемся, что живем в иную пору и что события той эпохи составляют для нас предание. Но всмотримся ближе в совершающиеся около нас явления — и принуждены будем сознаться, что и наше время изобилует признаками подобного же состояния. Больше того: между нами вза-

имное недоверие пустило, может быть, корни еще глубже во внутреннюю жизнь общества, нежели в ту пору. Всего более поражает в состоянии нашего общества в последние годы отсутствие той простоты и искренности в отношениях, которая составляет главный интерес общественной жизни, оживляет ее веянием свежести и служит признаком здоровья. Как редко случается видеть, что люди сходятся просто; а как отрадно было бы сойтись с человеком просто, без задней мысли, без искусственного заднего плана, на котором рисуются смутные тени, мешающие свободному общению! Таких теней образовалось в последнее время бесчисленное множество, — точно множество темных духов, рассеивающих смуту в воздухе. Откуда взялись они? хорошо, когда б их порожидала *идея* определенная, сознательная; тогда б еще возможно было устранить их тоже посредством идеи. Но нет, их порождают, по большей части, бессознательные представления и впечатления, всосанные и схваченные случайно, из воздуха, как подхватываются и всасываются атомы испорченной материи, при развитии всякой эпидемии. В воздухе кишат теперь атомы умственных и нравственных эпидемий всякого рода: имя им легион, и иное название трудно для них придумать.

Посмотрите, как сходятся люди в нашем обществе — знакомые и незнакомые, — для дела и без дела. Едва взглянули в глаза друг другу, едва успели обменяться словом, как уже стала между ними тень. С первого слова, которое сказал, с первого приема речи, который употребил один — у другого возникла уже задняя мысль: а, — вот какого он мнения, вот какой он школы, вот какого он *убеждения* (любимый из новейших терминов, и один из самых обманчивых). Он *либерал*, он *клерикал* он *крепостник*, он *социалист*, он *анархист*, он *фритредер*²⁵, он *протекционист*, он поклонник «*Московских ведомостей*»²⁶, он сторонник «*Недели*»²⁷, «*Вестника Европы*»²⁸, и так далее, и так далее. Присмотритесь, прислушайтесь, как вслед за этим первым впечатлением разгорается все сильнее взаимное *подозрение*, как оно потом переходит в *раздражение*, как затем всякий спокойный обмен мысли становится невозможен, как отрывистые и резкие фразы сменяются в принужденной беседе столь же резкими паузами, и как, наконец, люди расходятся, не узнав друг друга и осудив уже друг друга с первой встречи. Каждый сразу поставил друг друга в известную категорию, в известную клеточку, с которою, как он давно уже решил, нет у него ничего общего. Из-за чего весь этот бессмысленный раздор? Из-за убеждений? Можно сказать наверное в большинстве случаев, что с той и с другой стороны нет никакого осмысленного убеждения,

нет организованной партии, а есть только нечто, вчера услышанное, вчера вычитанное в газетах, вчера привившееся из разговора с таким же точно гражданином, только что покушавшим точно такой же детской каши...

Сколько сил тратится даром или лежит в бесплодии из-за этой бессмысленной игры во впечатления и в призраки убеждений? Люди, в сущности, честные, добрые, способные, вместо того, чтобы делать, сколько можно каждому, практическое, насущное дело жизни, на них положенное, складывают руки, теряют энергию, истощаются в бесплодном раздражении и негодовании, — решая, что на таких принципах, с такой теорией, с такими взглядами — деятельность невозможна. Они еще руки не приложили к своему делу, а оно им уже опротивело, они изверились в нем потому, что оно не соответствует воображаемой теории дела. Куда ни посмотришь, всюду тот же порок, не имеющий смысла. Педагоги в ожесточенной брани о принципах, системах и способах преподавания, забыли школу, в которой несчастные дети преданы в жертву тупым, бестолковым или ленивым учителям, а каждый из этих учителей готов в каждую минуту спорить об общих началах того самого дела, которого он не делает и не разумеет. Суды наши плачут по юристам, по опытным практикам, преданным делу из-за самого дела; университеты наши плачут по юристам-профессорам, облюбившим свое дело, как дело жизни; а юристы наши — ученые и практики — едва сойдутся, — глядишь, скоро уже готовы разорвать друг друга из-за подозрения в ретроградстве, в клерикализме, из-за идеи наказания, из-за идеи суда присяжных, из-за гражданского брака, из-за тюремного устройства той или другой системы. Войдите в заседание одной из многочисленных комиссий для рассмотрения того или другого *проекта*; прислушайтесь к речам, которыми в таком диком беспорядке перебивают друг друга, с концов зеленого стола, члены, насланные из разных ведомств; всмотритесь во взгляды, которые они мечут друг в друга: какое недоверие, какая подозрительность! какая аффектация в приемах речи! какое пустозвонство фраз! Из-за чего все это? Из-за дела, которым редко кто занимался в действительности? Нет, все из-за какой-то идейки, которую схватил где-то случайно оратор и которую понес с собою, или, лучше сказать, на которой понес себя — *ad astra*²⁹; все из-за какой-то теории, да еще из-за теории, в редких случаях хорошо вычитанной из хорошей книги! В любой гостинице, едва разговор выйдет из колеи обычных фраз и новостей, повторяется в ином виде то же явление. Происходит смешение языков с такою путаницей понятий, с такими иногда резкими внутренними про-

тиворечиями мысли, что останавливаешься в изумлении и в ужасе. Не редкость встретить людей, которые своими речами и образом действий своих точно протестуют с гордостью против своего же имени, против звания, которое носят, против дела, которому наружно служат и которым живут и содержатся. Случается слышать, как воспитатель, управляющий заведением, презрительно отзывается о педагогах, отстаивающих строгость дисциплины в воспитании; как военный офицер с негодованием громит отсталых людей, доказывающих необходимость дисциплины для армии; как священник с высшей точки зрения осуждает обычай ходить по праздникам к обедне; как судья и ученый юрист обзывает невеждами людей, требующих наказания вору, утверждающих, что прислуга должна повиноваться хозяевам... Все пошло врознь, всем стало трудно соединяться для деятельности, потому что все с первых же шагов расходится в мыслях о деле, или, вернее сказать, во фразах, облакающих неясные мысли.

Отчего происходит все это? Кажется, главную причину надо бы искать в непомерном, уродливом развитии *самолюбия*, в силу которого молодой, не видавший еще света человек, входя в незнакомое ему общество, сразу относится к нему враждебно, теряет спокойное самосознание, становится резок, отрывист и дерзок. Он приносит в незнакомую среду единственный капитал — высокое о себе мнение, и одна мысль, что его разумеют ниже, чем он сам себя разумеет, приводит уже его в раздражение, отнимает у него простоту, ставит его на ходули, облакает его в протест, не имеющий смысла... Представим себе целую компанию, составленную из таких болезненно, не в меру самолюбивых людей: это сопоставление довольно комично, взятое само по себе; но, как ни смешно, оно служит образом того состояния, в котором находится у нас так часто компания людей, случайно сошедшихся вместе или соединившихся для общей деятельности...

XII

Есть термины, износившиеся до пошлости от того, что их беспрерывно употребляют без определительной мысли, от того, что их слышишь во всяком углу от всякого, и, произнося их, глупый готов почитать себя умным, невежда воображает себя стоящим на высоте знания. До того может износиться ходячее на рынке слово, что серьезному человеку становится уже совестно употреблять его: он чувствует, что это слово, прозвучав в воздухе, принимает отражение всех пустых и пошлых представле-

ний, с которыми ежеминутно произносится оно на рынке ходячей фразы. Тогда наступает пора сдать такой термин в кладовую мысли: надо ему вылежаться в покое, надо ему очиститься в глубоком горниле самоиспытующей мысли, пока может оно снова явиться на свет ясным и определительным ее выражением.

Такая судьба угрожает, кажется, одному из любимых наших терминов: *развивать, развитие*. В книгах, в брошюрах, в руководящих статьях и фельетонах, в застольных речах, в проповедях, в салонных разговорах, в официальных бумагах, на лекциях, в уроках гимназии и народной школы, — всюду, всюду прожужжало слух это ходячее слово, и уже тоска нападает на душу, когда оно произносится. Пора бы, кажется, приняться за серьезную проверку понятия, которое в этом слове заключается; пора бы вспомнить, что этот термин: *развитие*, не имеет определительного смысла без связи с другим термином: *сосредоточение*. Пора бы обратиться за разъяснением понятий к общей матери и учительнице — природе. От нее нетрудно научиться, что всякое развитие происходит из центра и без центра немислимо, — что ни один цветок не распустится из почки и ни в одном цветке не завяжется плод, если иссохнет центр зиждительной силы образования и обращения соков. Но о природе мы, как будто на беду, забыли, и не справляясь с нею, составляем свои детские рецепты развития: в цветочной почке мы хотим механически раскрыть и расправить лепестки грубою рукою прежде, нежели настала им пора раскрыться внутренним действием природной силы, — и радуемся, и называем это развитием: мы только уродуем почку, и раскрытые нами лепестки засыхают без здорового цветения, без надежды на плод здоровый! Не безумное ли это дело? и не похоже ли оно на фантазию того ребенка в басне, который думал чашкою вычерпать море?

А сколько является отовсюду таких безумных ребят, таких непризванных развивателей и учителей! Страсть их к *развиванию* доходит до фанатизма, и нет такого глупца и невежды, который не считал бы себя способным развивать кого-нибудь. Но пусть бы они одни носились с своею неразумною страстью: всего поразительнее то, что вместе с ними, иногда вслед за ними, и люди, по-видимому, разумные, люди серьезной мысли, точно околдованные волшебным словом, ходячею монетою рынка, принимают повторять его, поддакивать ему, и на этом слове, на смутном понятии, с ним соединяемом, строят целые системы образовательной и педагогической деятельности.

И все эти фантазии разыгрываются, все эти планы сочиняются для того, чтобы оперировать, точно *in anima vili*³⁰, на массе так называемых темных людей, на массе народной. На нее гото-

вится поход: но ни полководцы, ни воины, никто не дает себе труда слиться с нею, пожить в ней, исследовать ее психическую природу, ее *душу*, потому что у народа есть душа, к которой надобно приобщиться для того, чтобы уразуметь ее! Нет, преобразователи ее и просветители видят в ней только известную величину, известную данную умственной силы, над которою требуется производить опыты. И притом, какая удивительная смелость и самоуверенность! — Требуется во имя какой-то высшей и безусловной цели производить эти опыты *обязательно* и *принудительно*!! Как производить их — в этом сами учителя несогласны: сколько голов, столько систем и приемов. В одном только сходятся — в твердом намерении действовать на *мысль* и *развивать, развивать* ее! Напрасно возражают им слабые голоса, что у простого человека не один ум, что у него *душа* есть, такая же, как у всякого другого, что в сердце у него та же крепость, на которой надо ему строить всю жизнь свою, и на которой до сих пор стоит у него *церковное строение*... Нет, — они обращаются все к мысли и хотят вызвать ее к *праздной*, в сущности, деятельности, на вопросах, давно уже легко и дешево решенных самими просветителями. Какое заблуждение! Если бы потрудились они, без самоуверенности и без высокомерной мысли о своем разуме, войти в темную массу и приобщиться к ней, они увидели бы, что темный человек сам ищет и просит света и жаждет просвещения, но открывает вход ему только с той стороны, с которой оно может взаправду просветить его, не смутив души его, не разорив его жизни. Он чувствует, что всего дороже ему духовная его природа, и чрез *сердце* хочет пролить свет в нее. Когда с этой стороны прильет ему свет разума, — он не ослепит его, не разорит его жизни, не перевысит центра тяжести, на котором утверждено его основание. Но когда операция развивания направлена исключительно на мысль его, когда его хотят начинить так называемыми знаниями и фактами учебников и общими выводами теорий, с ним произойдет то же, что происходит с конусом, когда хотят утвердить конус на острой вершине.

ЗНАНИЕ И ДЕЛО

С того времени, как проснулась и пришла в движение мысль в нашем обществе, стали нам твердить на все лады о необходимости *знания*; столько твердили, что самое понятие о *просвещении* отождествилось в умах нашей интеллигенции с *количест-*

вом знаний. Отсюда — расширение программ и высшего, и среднего, и даже начального обучения, отсюда — полки наскоро набранных бестолковых учителей, приставленных к каждой науке для того, чтобы пустоты не было, отсюда — формализм экзаменов и испытательных комиссий, отсюда расположение журналов, трактующих *de omni re scibili et quibusdam aliis*³¹, и наполняющих головы читателей на рынке интеллигенции массой отрывочных, перепутанных между собою мыслей и сведений. Результат всего этого жалкий — расположение мнимой интеллигенции, воображающей себя знающею, но лишенной того, к чему должно вести всякое знание, — то есть *уменья* взяться за дело, делать его добросовестно и искусно и поставить его интересом своей жизни.

Всякий человек призван к делу и должен выбрать себе известное дело; а для того, чтобы уметь делать его, необходимо собраться в себя, сосредоточиться. «Не расширяя судьбы твоей, — было слово древнего оракула, — старайся не гулять за пределами твоего дела». Рассеяние в разные стороны развлекает мысль, расслабляет волю и мешает сосредоточиться на деле. Развлекаясь во все стороны — разнообразными движениями любознательности и любопытства, человек не может скопить в себе и сосредоточить такой запас жизненной силы, какой необходим для решительного перехода от *знания* к *деланию*. Сколько бы ни поглотил в себя образов и сведений дилетантизм любознательности и вкуса, все останется бесплодно, если не может он собрать все свое существо в себе и двинуть его — к делу.

Знание само по себе не воспитывает ни *уменья*, ни воли. Мы видим ежедневные тому примеры. Много видим людей умных, острых памятью и воображением, образованных, ученых — и бессильных в решительную минуту, когда требуется решение для дела или твердое слово в совете. Но жизнь наша — и частная, и общественная при усложнении отношений, при смешении понятий и вкусов, — требует непрестанно скорого и твердого решения. И мы видим, когда оно требуется, люди идут к нему не твердыми ногами, а окольными путями, оглядываясь на все стороны. В эту пору человек, имеющий ясное сознание и волю, способный в минуту сообразить все, что знает в связи с предметом решения, — стоит для дела дороже множества умов неверных и колеблющихся.

Отсюда формализм и бесплодность многих происходящих у нас советов и совещаний: люди говорят, не умея сосредоточиться на предмете рассуждения. Но лучший оратор не тот, кто изыскивает лишь способы уловить и запутать противника мелким

оружием казуистики или потоком пышных угроз, но тот, кто приходит в совет с твердым и ясным мнением о деле и высказывает его ясно и твердо; не тот, кто, смешивая цвета и оттенки, способен доказывать, что в черном есть белое и в белом черное, но тот, кто прямо и сознательно называет белое белым и черное черным. Не тот истинный судья, кто, разлагая по волоску каждое требование и возражение, творит формальный суд по формальным признакам правды, но тот, кто, заботясь о существенной правде, умеет ясною мыслью проникнуть в существо отношений между сторонами. Не тот годный на дело военачальник, кто изучил до подробности всю историю походов и битв и все приемы военной тактики, но тот, кто может в решительную минуту острым взглядом сообразить в уме своем положение местности и военных сил, — и решительным действием воли определить судьбу сражения.

ВЕРА

I

Здесь, на земле, подлинно мы ходим *верою*, а не видением, и жестоко ошибается тот, кто думает, что погасил в себе веру и хочет жить отныне одним видением. Как бы высоко ни поставил себя над миром ум человеческий, он не разделен с душою, а душа все стремится веровать, и веровать безусловно: без веры прожить нельзя человеку. И не жалкий ли это обман, что человек, отвергая веру в действительное, в существующее, в то, что сказывается душе его реальною истиной, делает предмет своей веры теорию и формулу, ее чувствует, ей, как идолу, поклоняется, ей готов принести в жертву себя самого и целый мир в душе своей, и свободу свою, и всех своих ближних. Теория и формула, какие бы ни были, не могут заключить в себе безусловное, и каждая из них, возникнув в уме человеческом, есть, по необходимости, нечто неполное, сомнительное, условное и лживое. Что выше меня неизмеримо, что от века было и есть, что неизменно и бесконечно, чего не могу я объять, но что *меня объемлет и держит* — вот, во что хочу я верить как в безусловную истину, — а не в дело рук своих, не в творение ума своего, не в логическую формулу мысли. Бесконечность вселенной и начало жизни невозможно вместить в логическую формулу. Бедный человек, кто, составив себе такую формулу, хочет с нею пройти через хаос бытия: — хаос поглотит его вместе с жалкою его фор-

мулой. Сознание своего бессмертного я, вера в Единого Бога, ощущение греха, искание совершенства, жертва любви, чувство долга — вот истины, в которые душа верит, не обманываясь, не идолопоклонствуя перед формулой и теорией.

II

Какое таинство — религиозная жизнь народа, такого, как наш, оставленного самому себе, неученого! Спрашиваешь себя: откуда вытекает она? — и когда пытаешься дойти до источника — ничего не находишь. Наше духовенство мало и редко *учит*, оно служит в церкви и исполняет требы. Для людей неграмотных Библия не существует; остается служба церковная и несколько молитв, которые, передаваясь от родителей к детям, служат единственным соединительным звеном между отдельным лицом и церковью. И еще оказывается в иных глухих местностях, что народ не понимает решительно ничего ни в словах службы церковной, ни даже в «*Отче наш*», повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы.

И однако — во всех этих невоспитанных умах воздвигнут — как было в Афинах, — неизвестно кем, алтарь *Неведомому Богу*; для всех — действительное присутствие воли Провидения во всех событиях жизни — есть факт столь бесспорный, так твердо укоренившийся в сознании, что, когда приходит смерть, эти люди, коим никто никогда не говорил о Боге, отверзают Ему дверь свою, как известному и давно ожидаемому Гостю. Они в буквальном смысле *отдают Богу душу*.

III

«В начале было слово» — так благовествует Евангелист. Великий германский писатель захотел поправить эту мысль богослова своим философским анализом, заставив над нею задуматься Фауста. «Нет, — говорит Фауст: — в начале было *дело*». Когда бы Гете писал своего Фауста в наше время, Фауст сказал бы, вероятно: «в начале был *факт*». Факт — это излюбленное понятие новейшей материальной философии, ячейка, из которой она строит вселенную, столп и основание всего того, что она называет *истиной*.

Какая неправда! Истина есть нечто абсолютное, и только абсолютное может быть основанием жизни человеческой. Все ос-

тальное не твердо, все остальное исчезает в колеблющихся образах и очертаниях, стало быть, не может служить основанием. Факт есть нечто существенно реальное, неразрывно связанное с условиями материальной природы, и в ней только мыслимое. Но едва мы пытаемся отделить этот факт от материальной его среды, определить духовное его начало, уловить его истинный разум, — как уже теряемся в сети предположений, гипотез, недоумений, возникающих в уме каждого отдельного мыслителя, — и чувствуем свое бессилие познать его *истину*. Вот почему история представляет нам такое смешение представлений о каждом событии, о каждом историческом деятеле, когда мы пытаемся анализировать духовное значение того или другого. Самая высшая добросовестность исторического исследования может стремиться лишь к начертанию верной картины событий и действий в связи с современными им условиями жизни и деятельности, к восстановлению факта в полной по возможности материальной его обстановке, с исследованием причин, последствий и побудительных причин исторической деятельности. Очевидно, что наука здесь не может обойтись без художества, и всякий подлинный историк должен быть художником в труде своем. Для художества необходим идеал; следовательно, историк в оценке событий и действующих лиц непременно имеет в виду идеал, черты коего могут быть не одинаковы у каждого. Каждый наклонен увлекаться своим идеалом, то есть своим представлением о совершенстве в побуждениях, делах и учреждениях человеческих. К событиям во взаимной их связи историк относится критически, и характер критики определяется сложившимся у каждого мирозерцанием. Вот почему так различны и часто противоречивы суждения и приговоры исторической критики о знаменитейших деятелях и важнейших событиях истории. Кого один возвышал вчера, того другой сегодня развенчивает, и наоборот, кого прежде историческая наука выставляла извергом, в том после находит черты нравственного превосходства. Едва ли когда будет конец этим колебаниям исторической критики; — ибо самый идеал ее представляет колеблющиеся черты, и с каждым поколением ученых и художников изменяется.

Несравненно раньше прагматической истории из глубины народного сознания и творчества народного возникла *легенда*, и продолжает твориться наряду с историей. Она служит сама источником для истории и предметом исторической критики, но, невзирая ни на какую критику, остается драгоценным достоянием народа, сохраняя в себе всю свежесть непосредственного представления. Народ понимает ее и любит ее, — и, прибавим,

продолжает творить ее, не только потому, что склоняется к чудесному, но потому еще, что чувствует в ней глубокую истину, абсолютную истину идеи и чувства — истину, которой не может дать ему никакой — самый тонкий и художественный — критический анализ фактов. Тех героев народной поэмы, которых развенчивает история, народ продолжает чтить; в них драгоценны для него черты идеала — идеалы силы, добродетели, святости, ибо в этих идеалах, а не в людях, не в событиях, не в преходящих образах жизни, народ чувствует *абсолютную истину*. Ученые не хотят понять, но народ *чувствует душой*, что эту абсолютную истину нельзя уловить материально, выставить осязательно, определить числом и мерою, — но в нее можно и должно *веровать*, ибо абсолютная истина доступна только *вере*. Ничего нет совершенного, ничего — цельного, ничего — единого в делах, чувствах и побуждениях человеческих, ибо всякий человек раздвоен сам в себе и только стремится к объединению, падая и колеблясь на каждом шагу. И так, если подойдем с анализом к каждому подвигу, к каждому событию, к каждому историческому лицу, — никто его не выдержит, и героев не будет ни единого. Каждому подвигу предшествует такая цепь нравственных колебаний, его объемлет такая сеть разнохарактерных ощущений, побуждений, случайных событий, направляющих, изменяющих, рассекающих волю человеческую, — что для пытливого ума не остается и места подвигу, как цельному, свободному проявлению воли, направленной к идеалу. Но в народном представлении подвиг является именно цельным и живым проявлением силы: так верует народ, и без этой веры жить не может, ибо в ней вся жизнь человека держится, посреди рыдания и жалости, и горя, и лжи, коею она материально наполнена.

Вот почему заблуждаются те, которые хотят разложить эту веру в народе, отнять ее у него под предлогом заботы о мнимой исторической истине. Людям необходима вера в идеал истины и добра; — но как сохранить эту веру, как поддержать ее, если она не воплощается в *живом образе*? Отнять у людей этот образ, значит — отнять самую веру, которая в нем выражается, веру в абсолютную истину, в цельное совершенство. Вот почему, между прочим, любимое по преимуществу чтение русского народа — жития святых, Четья-минея³², вся составленная из живых образов подвига, добродетели, нравственного совершенства. Каждый из этих героев святости был — человек, со всеми слабостями человеческой природы, со всякими колебаниями мысли, побуждения и воли, со всею низостью падения человеческого, и если бы можно было разложить душу его, мы бы увидели в ней всю тай-

ну первородного греха, и все бессилие борьбы человека с самим собою. Но из этой борьбы вышел он победителем, но борьба эта совершалась во имя высших идеалов совершенства, коего мера не на земле, а на небе, в области абсолютного. И этот подвиг его борьбы описала живыми чертами подобная сочувственная душа благочестивого спасателя, которая вложила в описание живую любовь к той же истине, живое стремление к тому же идеалу. Вот в чем народ чует *истину* — и не сомневается, и верует, в то время, когда пытливая философия ученого агностика³³ пытается факты и, думая познать в них материальную истину, в то же время о духовной истине, которая сама отзывается в верующей душе, — насмешливо спрашивает: «Что есть истина?».

IV

В мифе Прометея, связанного Зевсом и пригвожденного к Кавказскому утесу, нельзя не распознать идею новейшего скептицизма в сопоставлении с идеей Всемогущего Бога, Создателя вселенной. Это протест гордого духа против общего верования в бытие Божие, отрицание невыносимого для гордости чувства стыждения (*reverentia*) перед Божеством, покорности и поклонения Божеству. Нужды нет, что от Божества взят, у Божества похищен священный огонь, которым живет, согревается, оплодотворяется человечество, — человек знать этого не хочет, и владея Божественным огнем, хочет жить в отчуждении от Божества, самовластно.

Сфинкс древней басни сидел на распутии и предлагал каждому путнику свою загадку. Кто не умел разгадать ее, тот был жертвою сфинкса и повергался в пропасть: одолеть чудовище мог лишь мудрец, находивший разгадку.

Что такое сфинкс в нашей жизни? Вся наша жизнь — бесконечная, с виду механическая цепь явлений и событий (фактов). Друг друга сменяя, совокупляясь друг с другом, все они, пролетая мимо, несут на крыльях свои вопросы духу человеческому, и каждая минута, в коловращении времени, приводит свои, *современные* вопросы. Потребна мудрость духа, чтобы ответить на них, чтоб разрешить их: у кого нет ее, тот становится *рабом* фактов и явлений, — *рабом своего времени*, — хотя бы и величался человеком *современным*. Факты подавляют его со всех сторон, господствуют над ним, — и выходит человек *пошлых*

путей, чувственного обычая (рутинер), — и до того доходит в слепом повиновении фактам, что исчезнет в нем наконец последняя искра света, просвещающего всякое существо, достойное имени и звания человеческого. Но когда человек остается верен лучшим духовным побуждениям своей природы, когда умеет различать основные начала духовной жизни и твердо стоит в духе, не повинуюсь фактам, но господствуя над ними, тогда все они ровно ложатся около него в жизни, каждый на свое место: не они его одолели, но он одолел их...

Сфинкс древнего Египта не то, что сфинкс древней Греции, хотя и тот и другой выражает таинство души человеческой.

Египетский сфинкс — мирное существо получеловеческое, полуживотное. Перед храмом, перед царскою гробницей, проходя длинным рядом сфинксов, человек ощущает близость Божества — и таинства смерти. Сфинкс является образом таинственного созерцания, погруженного в себя и в идею Божества: древние египтяне олицетворяли в нем Божество солнечного света.

Не таков сфинкс *нового* мира, создание Греческой фантазии. Это существо демонического происхождения, порождение чудовищного Тифона и Ехидны, олицетворение не светлого Божества, но темной силы Тартара, — существо зверское, хищное, губительное. И в нем выражается таинство, но не таинство погруженного в себя созерцания, — а таинство страстной, отрицательной, насильственной и разрушительной мысли.

И этот сфинкс доныне не перестает задавать человеку страшные, таинственные загадки, — загадки неразрешимые. Тысячи умов пытаются найти решение, разгадать загадку жизни и религии, — и не могут. Но каждая и безуспешная попытка решения — только погружает мысль и чувство в новые бездны, и каждая загадка порождает лишь сотни и тысячи новых неразрешимых загадок, — и перед бедным человечеством разверзается в виду чудовища бездна погибели, и оно ринется в бездну, если не остановится на камне простой твердой веры и ясного мышления...

V

Великий вопрос, не перестающий смущать ум и совесть во всем человечестве, — вопрос об осуществлении в отношениях человеческих правды и любви, заповеданных Христом, полагае-

мых христианскою Церковью в основание своего учения. Нет разума, который нашел бы ключ к разрешению этого противоречия, нет совести, которая успокоилась бы на нем. Проходя мыслью кровавую историю войн, раздоров, насилия, неправды, невежества и суеверия, длящуюся с начала мира до сегодняшнего дня, — и в общественной, и в частной жизни, всякий с ужасом спрашивает себя — где же и в чем же исполнение закона Христова посреди того ада, в котором живем мы и движемся? Где выход из того состояния, в котором самая религия представляется как бы зеркалом лжи и лицемерия, показателем противоречий между делом и сознанием, сетью обрядов и формальностей, служащих покровом прельщаемой совести и мнимым оправданием неправды? Есть избранные, есть люди правды, смиренные сердцем, есть дела любви и разума, на которых мысль отдыхает и временно успокаивается, но обозревая сококупность жизни, видит начальства и власти, забывающие свое призвание, видит несправедливые прибитки в чести и славе, богатство, нажитое хищением, поглотившее самую власть и владеющее миром, видит беззаконие самоуверенное под покровом наружного благочестия, видит тысячи и миллионы, приносимые в жертву богу войны, идолу вражды и насилия, видит, наконец, бесчисленные массы, прозябающие без сознания, раздираемые нуждою, живущие и умирающие в страдании. Где же, спрашивает, царство Христово, царство любви и правды, где же действенная сила религии, — где цель и конец бедственной человеческой жизни?

Сколько раз слышалось и слышится — издревле и до наших дней ожидание золотого века в человечестве — и оканчивается оно разочарованием, если не безнадежностью — ибо христианин не может, не должен быть безнадежен. Ветхозаветные пророки изображают будущее состояние мира и благоденствия в человечестве. Христос принес на землю заповедь любви и мира, но не исполнение этой заповеди — исполнение, в котором не оставалось бы места свободе: эта самая заповедь, по Его слову, явилась мечом и должна была зажечь огонь в сердцах человеческих. И когда, по воскресении Его, от сердец, загоревшихся надеждою на обновление мира, послышался робкий вопрос: «Господи, не в это ли лето устроишь Ты царство Израилево?» ответ Его был: «не дано вам разуметь времена и лета: их Господь положил во Своей власти». — Время, размеренное малыми долями у людей, безгранично у Господа Бога: у него и тысяча лет как день и день как тысяча лет.

И юная Церковь Христова первых столетий, посреди гонений, посреди пороков и бед, жила тою же надеждою на устрое-

ние царства Израилева: эта надежда на победу правды в человечестве была новою силой, которую внесло в безотрадный языческий мир христианство. Настало страшное время, когда эта сила по-видимому иссякла и надежда перешла в отчаяние. Взятие и разрушение Рима Аларихом поразило весь христианский мир невыразимым ужасом; и верующие души омрачились сомнением: где же сила христианства, где же спасение? А мир языческий вопиял: все беды эти от новой религии Христовой. Тогда Блаженный Августин ободрил смущенную совесть и восстановил надежду христианскую своей одушевленной книгой «*О граде Божием*», разъясняя людям судьбы Промысла Божественного в истории человечества и непреложность учения о царстве, еже не от мира сего.

С тех пор и донныне, в эпохи общественных бедствий, в разгаре насилия и разврата общественного, сколько раз поднимается тот же самый вопрос в христианском мире! И мы переживаем такое время, когда начинает по-видимому оживать давно прошедшее язычество и, поднимая голову, стремится превозмочь христианство, отрицая и догматы его, и установления, и даже нравственные начала его учения, — когда новые проповедники, подобно языческим философам древнего мира, с злобною иронией обращают к остатку верующих горькое слово: «вот к чему привело мир ваше христианство? вот чего стоит ваша вера, исказившая природу человеческую, отнявшая у ней свободу похоти, в которой состоит счастье!» Что же, неужели погибает мир перед напором древнего язычества «победа, победившая мир, вера наша»?

Нет, она остается целою, в святой Церкви, о коей Создавший ее сказал: «врата адовы не одолеют ей». Она хранит в себе ключи истины, и в наши дни, как и во все времена, всяк, кто от истины, слушает гласа ее. В ней, под покровами образов и символов, содержатся силы, долженствующие собрать отовсюду рассеянное и обновить лицо земли. Когда это будет, ведает Един, времена и лета положивый в Своей власти.

А между тем, от самого начала Церкви, нетерпеливые сердца, гордые умы не перестают искать, помимо Церкви и вопреки ей, новых учений, долженствующих обновить человечество, исполнить закон любви и правды, водворить мир и благоденствие на земле. Поражаясь чудовищными противоречиями между учением Христа Спасителя и жизнью христиан, составляющих Церковь Христову, — они возлагают вину на Церковь с ее установлениями, и приходя к отрицанию существующей от начала христианства Церкви, думают утвердить вместо нее свое, очи-

ценное, по мнению их, учение Христово, отрешенное от Церкви, выводимое по их усмотрению из отдельных текстов Евангелия.

Странное заблуждение. Люди, подверженные той же похоти и тому же греху, какому подвержено все окружающее их общество, люди одного со всеми естества, раздвоенного в себе, склонного хотеть, чего не делает, и делать, чего не хочет, — себя одних представляют едиными в духе и являются непризнанными учителями и пророками. Похоже на то, как бы они одни вообразили себя стоящими на неподвижной точке, тогда как весь мир и они вместе с миром кругом обращаются. Начиная с разрушения закона, сами они не в силах создать новый закон из тех частей и обрывков цельного учения, которое отвергли. Отрицая Церковь, — они приходят однако к тому, что хотят создать свою церковь с своими проповедниками и служителями, и если успевают в том, повторяется на них то же, что они осуждали и против чего восставали, — только с новым умножением лжи и лицемерия и безумной гордости, возвышающейся над миром. Гордость ума, с презрением к людям той же плоти и крови, возбуждает их разорять старый закон и созидать новый. Они забывают, что Тот же Учитель Божественный, имя Коего призывают они, будучи кроток и смирен сердцем, не хотел изменять ни одной черты в законе, но каждую черту оживотворял духом любви, в ней сокрытым.

Осуждая догматизм и обрядность, они сами под конец обращаются в узких и властолюбивых догматиков; восставая против фанатизма и нетерпимости, они сами становятся злейшими фанатиками и гонителями; проповедуя любовь и правду, сами бессознательно проникаются духом злобы и пристрастия. Гордость, ослепляя их, не допускает их сознать, какой соблазн вносят они в область веры, разрушая простоту ее и цельность в душах простых, которые Церковь не успела еще воспитать и привести в сознание веры.

Нетрудно, — но и как безумно, как бессовестно, соблазнить простую душу, в которой есть только чистое, незанятое поле религиозного чувства, душу невоспитанную, невежественную в истинах веры! Ужасно подумать, что к такой душе приступают с голым отрицанием Церкви и хотят ее уверить, что эта Церковь с ее учением и таинствами, с ее символами, обрядами и преданиями, с ее поэзией, одушевлявшей из века в век множество поколений, есть ложное и ненавистное учреждение. Простая душа была душа смиренная: сектантство возводит ее на высоту *гордости* — свою *особливою* верой, а веру вмещает в узкую рамку

сектантской *формулы*. Нет души, как бы ни была она невежественна, — к коей нельзя было бы привить такую бессмысленную гордость с уверенностью в своей правде — пред кем? Пред целым народом, составляющим Церковь и живущим в смиренном сознании своей греховности перед Богом и в смиренной надежде на прощение грехов и на спасение в молитве церковной. Плоды этой гордости в дальнейшем ее развитии очевидны. Это — *лицемерие* в самодовлеющем сознании праведности; это — злобное раздражение противу всех иначе верующих и до страсти доходящее стремление к отвлечению от церковного стада рассеянных овец его, — причем всякие средства считаются годными для достижения цели.

Церковь подлинно корабль спасения для пытливых умов, мучимых вопросами о том, во что веровать и как веровать. Пуститься с этими вопросами в безбрежное море исследований, сомнений и логических выводов — страшно для ограниченного ума человеческого, для прихотливого воображения, для самолюбия, стремящегося искать новых путей. Утвердившись на своей надуманной вере, ставя себя с нею выше авторитета церковного, человек, в сущности, может кончить тем, что уверует в себя, как носителя веры: может дойти до нетерпимости и фанатизма, до странного обольщения мысли — принимать веру за самодовлеющий элемент спасения, отрешенный от жизни и деятельности.

VI

Передовые люди, основатели религий, на высотах созерцания сознавая в системе вероучения идею Божества и Его отношения к человеку, создают в применении к ней и формы культа, одухотворенные тою же идеей. Но масса народная пребывает в долине, и свет чистого созерцания, озаряющий верхи гор, не скоро до нее доходит. В массе религиозное представление, религиозное чувство выражается во множестве обрядностей и преданий, которые с высшей точки зрения могут казаться суеверием и идолослужением. Строгий ревнитель веры возмущается, негодует и стремится разбить насильственной рукой эту оболочку народной веры, подобно тому, как Моисей разбил тельца, слитого Аароном по просьбе народа³⁴, в то время, когда пророк пребывал в высоком созерцании на высотах Синайских. Отсюда доходящая до фанатизма пуританская ревность вероучителей.

Но в этой оболочке, нередко грубой, народного верования, таится самое зерно веры, способное к развитию и одухотворе-

нию, таится та же вечная истина. В обрядах, в преданиях, в символах и обычаях — масса народная видит реальное и действенное воплощение того, что в отвлеченной идее было бы для нее не реально и бездейственно. Что, если разбив оболочку, истребим и самое зерно истины, что, если исторгая плевелы, исторгнем вместе с ними и пшеницу? Что, если, стремясь разом очистить народное верование под предлогом суеверия, истребим и самое верование? Если в формы, в которых простые люди выражают свою веру в живого Бога, иногда смущают нас, — подумаем, не к нам ли относится заповедь Божественного Учителя: «блюдайте, да не презрите единого от малых сих верующих в Мя».

В одной арабской поэме встречается такое поучительное сказание знаменитого учителя Джелалледина. Однажды Моисей, странствуя в пустыне, встретил пастуха, усердно молившегося Богу. И вот какую молитвою молился он: «О, Господи Боже мой, как бы знать мне, где найти Тебя и стать рабом Твоим. Как бы хотелось надевать сандалии Твои и расчесывать тебе волосы и мыть платье Твое и лобызать ноги Твои и убирать жилище Твое и подавать Тебе молоко от стада моего: так Тебя желает мое сердце!» Распалился Моисей гневом на такие слова и сказал пастуху: «ты богохульствуешь. Бестелесен Всевышний Бог, не нужно Ему ни платья, ни жилища, ни прислуги. Что ты говоришь, неверный?»

Тогда омрачилось сердце у пастуха, ибо не мог он представить себе образ без телесной формы и без нужд телесных: он предался отчаянию и отстал служить Господу.

Но Господь возгласил к Моисею и так сказал ему: «для чего отогнал ты от Меня раба Моего? Всякий человек принял от Меня образ бытия своего и склад языка своего. Что у тебя зло, то другому добро: тебе яд, а иному мед сладкий. Слова ничего не значат: я взираю на сердце человека».

VII

Древний персидский поэт Мухаммед Руми (XIII стол.) — автор знаменитой поэмы *Маснави*. В ней есть замечательные стихи о молитве, достойные верующей души.

«Некто, в сладость устам своим возопил в тишине ночной: “о, Алла!” А сатана сказал ему: молчи ты, угрюмец, долго ли болтать пустые слова? не дожدهшься ты ответа с высоты престольной, сколько ни станешь кричать: “Алла!” и делать печальный вид».

Смутился человек, горько ему стало и повесил он голову. Тогда явился ему пророк Кизр в видении и сказал: “Зачем перестал ты призывать Бога и раскаялся от молитвы своей?” И отвечал человек: “не слышал я ответа, не было гласа: «Я здесь», и боюсь я, что отвержен стал от благодатной двери”. И сказал ему Кизр: “Вот что повелел мне Бог. Иди к нему и скажи: О, искушенный во многом человек! Не Я ли поставил тебя на служение Свое? Не Я ли заповедал тебе взывать ко Мне? И Мое «Здесь Я» одно и то же, что и твой вопль: «Алла!» И твоя скорбь и стремление твое и горячность твоя — все это Мои к тебе вестники; когда ты боролся в себе и взывал о помощи — этой борьбою и воплем Я привлекал тебя к себе и возбуждал твою молитву. Страх твой и любовь твоя — покровы Моей милости, и в одном твоём слове: «о Господи!» множество отзывается голосов: «Я здесь с тобою!»”

ИДЕАЛЫ НЕВЕРИЯ

I

Древнее слово «рече безумен в сердце своем: несть Бог» выступает ныне во всей своей силе. Правда его ясна как солнце, хотя ныне всеми «передовыми умами» овладело какое-то страстное желание обойтись без Бога, спрятать Его, упразднить Его. Люди, — по мысли добродетельные и честные, те задают себе вопрос, как бы сделать конструкцию добродетели, чести и совести без Бога. Жалкие усилия!

Франция, дойдя до крайней степени политического разложения, задумала, в лице своего правительства, организовать народную школу, «без Бога». На беду, у нас иные представители интеллигенции недалеко ушли от московской княжны, лепетавшей: «Ах, Франция, нет в мире лучше края», и недавно еще прославленный педагог указывал нам на новую французскую школу, как на идеал для подражания.

В числе новых французских книг, официально предназначенных для руководства при обучении в женских школах на счет правительства, есть книга, называемая: «Нравственное и гражданское наставление молодым девицам», сочин. г-жи Гревиль (Instruction morale et civique des jeunes filles). Это нечто вроде гражданского катехизиса нравственности, коим предполагается заменить в школах обучение Закону Божию.

Книга эта весьма замечательна. Она разделена на три части, и каждая часть на отдельные главы. Первая часть содержит в себе

правила нравственности, понятия о долге, о чести, совести и т. под. Вторая часть содержит в себе краткое учение о государстве и о государственных учреждениях. Третья часть — учение о женщине, о ее призвании, качествах и добродетелях. Изложение книги — сжатое, простое, ясное — как пишутся учебники, со множеством наглядных примеров, с картинками в тексте. Нельзя ничего возразить против сущности самого учения: оно зовет к порядку, к доброй нравственности, к чистоте мысли и намерения, к добродетели, и обращается энергически к чувству и сознанию долга, а женщине строго указывает ее обязанности в домашней жизни и в обществе.

Но примечательно вот что. Ни разу ни на одной странице не упоминается о Боге, нет ни малейшего намека на религиозное чувство. Автор, изъясняя глубокое и решительное значение *совести* в человеке, дает такое определение совести: «совесть есть соображение того *мнения*, которое имеют о нас и о действиях наших другие люди» (*considération de l'opinion des autres*). На этом-то зыбком и колеблющемся грунте *людского мнения* сочинители стремятся утвердить нравственные основы целой жизни! Подлинно исполняется на этом слово: «Мнящиеся быть мудрыми — обезумели».

К несчастью, в этот поток безумия, разливающийся ныне во Франции, привлекаются и из нашей бедной России мелкие ручьи доморощенной интеллигенции; и от глашатаев ее, из журналов и газет, из передовых статей и фельетонов, слышится повторяемый хором тот же голос московской княжны. К тому же хору присоединяются нередко благонамеренные, но чрез меру наивные и неопытные умы, воображающие, что журналы и газеты приносят им какое-то «новое слово» цивилизации.

Жалко читать, как журнальные критики рассуждают в вопросе школы, что без религии, конечно, нельзя, что религиозное обучение нужно, но все это без церкви и ее служителей. Говорили бы уже прямее и проще. Мы-де не отвергаем религиозного обучения, мы-де даже требуем его, мы не понимаем школы без него, — только не хотим *клерикализма*. А под покровом этого термина разумеется церковь и церковность. Этот иезуитский прием изложения, усвоенный новыми апостолами народной школы, вводит в заблуждение многих читателей, не умеющих «различать дух» писания.

Не знают эти добрые люди, что ныне и слово *религия*, как и многие другие слова, изменилось в своем значении, и под ним стали уже многие разуместь нечто такое, от чего, если б распознал, отступил бы с ужасом человек, подлинно верующий в Бога.

Не знают, что в наше время выдумана религия *без Бога*, и самое слово *Бог* в употреблении у так называемых *людей науки*, получило особливое значение.

В 1882 году появилась замечательная книга, обратившая на себя общее внимание. Отрицание Бога высказывалось большею частью ненавистниками всякой религии, с чувством ожесточения, с выражением легкомысленной или злобной иронии, с проповедью об исключительном значении *материи* во вселенной. В этой книге в первый раз выразилось, в спокойном тоне, с достоинством, с идеальным воззрением на жизнь, целое учение о религии без Бога. Книга эта называется: *Натуральная религия* (Natural religion, Lond. 1882). Автор ее — оксфордский профессор Сили (Seeley), тот самый, коего первое сочинение *Esse Homo*, появившееся лет за десять пред тем, обратило тогда на себя внимание не только людей мирской науки, но и благочестивых идеалистов, мнивших найти в нем какое-то новое слово о Христе и о христианской вере. Некто из уверовавших в эту книгу, издал ее и в русском переводе.

Но людям церковным и в то время книга эта казалась странною и сомнительною. Нельзя было отнестись к ней с доверием.

Книга эта содержала в себе художественный анализ земной жизни и характер Иисуса Христа, исключительно в чертах человеческой Его природы. Она была написана в духе глубокого благоговения, языком философским, но не чуждым терминов церковных и богословских. Целью анализа явно выказывалось намерение выяснить образ Христов для благоговейного подражания. Казалось, автор — христианин, исполненный благочестивого чувства. Однако, многим благочестивым читателям этой книги было от нее смущение: как будто с их христианским воззрением и чувством не сходится тоже, по-видимому, христианское чувство и воззрение автора. Образ Христа в этой книге был образом верховной святости, чистоты и благости, но не родной, не свой, не тот, Кого мы привыкли с детства чтить Богочеловеком, Словом Божиим, не тот Христос, Кого славит Церковь Христова. Что-то неладное слышалось в книге, как будто автор ее или утратил веру, или недалеко стоит от того. Однако в этой книге автор, видимо, утверждал еще веру в личное бытие Бога, в бессмертие души человеческой, в мессианское значение пришествия Христа в мир, и даже, хотя с некоторым колебанием, в действительность чудес Христовых.

Прошло 10 лет, и он является, как ни в чем не бывало, восторженным проповедником религии, но религии новой, не Христовой. Старое откровение, — говорит он, — отслужило свою служ-

бу; вместо него явилось новое: новейшие естествоиспытатели, историки, филологи — принесли нам такое откровение, о коем и не мечтали древние пророки. С этой точки зрения библейская критика немецких ученых выше и совершеннее самой Библии. Обращаясь с необыкновенною наивностью к людям верующим и церковным, он говорит: о чем нам спорить, о чем враждовать друг с другом? Мы можем соединиться в одной вере. Мы, люди науки, тоже веруем в Бога. Наш Бог — природа, которая есть в известном смысле откровение. Итак, мы не безбожники, повторяет он, и весь спор между нами, людьми науки, и вами, богословами, есть лишь спор о словах. Не все ли равно: у нас Бог — природа, и научная теория вселенной есть тоже теория теизма³⁵. Ведь природа есть сила, вне нас сущая, закон ее для нас безусловен. — вот, стало быть, Божество, которому мы поклоняемся.

Не любопытно ли, что автор, отвергая личное бытие Божие, в то же время протестует энергически против обвинения в атеизме, и сам отвергает и осуждает атеизм³⁶. Что же такое атеизм, по его мнению? На этот вопрос автор отвечает таким измышлением ума, который простому уму может показаться безумием.

«То, что обыкновенно называют атеизмом, есть очень метафизическая форма отрицания и не имеет серьезного значения. Подлинный, действительный атеизм имеет гораздо более серьезное значение и заключает в себе великое нравственное зло. Настоящий атеизм может быть назван общим термином *своеволие* (wilfulness). Именно, всякая деятельность человеческая есть сделка с природою, сделка нашей потребности с неотразимым законом природы... Не признавать ничего, кроме собственной воли, воображать доступным все, что наметила сильная воля, не признавать все себя никакой высшей силы, которую надлежит принимать в соображение и склонять на свою сторону для успеха в предприятии, вот в чем заключается *чистый атеизм*». Желая пояснить примером эту смутную и спутанную мысль, автор приводит в пример государство, являющее в судьбах своих образ чистого атеизма, и указывает на Польшу. «Sedet aeternumque sedebit³⁷, — говорит он, — несчастная Польша, испытывая кару за преступное атеистическое своеволие, за то, что услаждалась безграничною личною свободою, не захотевшей считаться с природою вещей».

Составляя свою теорию религии, автор описывает подробно, как вырождается, по его мнению, религиозное чувство из науки и как, проходя чрез призму воображения, оно расчленяется в нравственном существе человека в форму тройкой религии: религию природы, религию человечества и религию красоты.

В этой книге, написанной с талантом и одушевлением, высказано, хотя в первый раз с такою полнотою, далеко не новое учение; читатель встречает в нем знакомые черты столь модного в наше время позитивизма, черты, — знакомые по сочинениям Канта, Джорджа Эллиота и столь излюбленного у русских переводчиков Герберта Спенсера. Ни в одном из помянутых сочинений не обличается так явственно внутреннее бессилие этой модной теории, как в книге «Natural Religion». До какого безумия может договориться ум, когда, увлекаемый гордостью самообожания, отвергает *сверхъестественное* в жизни и вселенной и принимается строить свою теорию жизни в ее отношениях ко вселенной. Эта теория осуждена вертеться в заколдованном кругу и сама себе противоречит. Упраздняя личного Бога, она пытается удержать религию, и напрасно пытается установить предмет религиозного чувства, ибо кроме живого Бога нет предмета для религии. Отвергая невидимый мир, бессмертие души и будущую жизнь, она полагает однако целью жизни счастье, и напрасно пытается ограничить его пределами материи и земного бытия. Называя откровение выдумкою или мечтою, и всякий догмат ложью, она сама, однако, ищет опоры себе не в ином чем, как в новом догмате, выставляя в виде аксиомы, в которую должно верить, неперенный и бесконечный прогресс человечества.

Эта теория как раз отражает в себе то *своеволие* и гордое упорство мысли, которое наш автор соединяет в своем понятии с атеизмом. В ней не видно той цельной и ясной *уверенности*, которая служит признаком истины и прочности учения. Проповедники ее — в своей проповеди о счастье человечества — все спотыкаются на действительности, которой не могут отрицать. Эта действительность есть неотвратимое присутствие *зла* и *действия*, насилия и неправды в человеческой жизни — аргументы *пессимизма*. Этого аргумента нельзя утаить; одни из апостолов позитивизма стараются подавить и заглушить его, или лицемерно проходят его молчанием; другие, более добросовестные, останавливаются перед ним с грустью и сомнением. К числу последних относится и наш автор. Прославляя новую, проповедуемую им религию природы, человечества и красоты, доказывая всю силу и действенность соединяемого с нею религиозного культа, он в то же время говорит: «Едва начинаем мы успокаиваться на той мысли, что все познаваемое и естественное довлеет для человеческой жизни, как поднимает свою голову пессимизм и приводит нас в смущение». «Если бы не пессимизм, — замечает он в другом месте, — ничто не смущало бы нашего религиозного по-

клонения». И в самом конце книги, построив свое здание, говорит он такие речи:

«Чем далее расширяются и углубляются наши мысли, по мере того, как вселенная объемлет нас и мы привыкаем к бесконечности в пространстве и времени, тем более поражает нас чувство собственного ничтожества, и мы от ужаса цепенеем — нравственный паралич овладевает нами. На время утешаем мы себя идеей самопожертвования, говорим: пускай я исчезну, буду думать о других. Но вот, скоро и другие становятся для нас столь же презрительными, как мы сами; все печали человеческие заодно, кажется, не стоят того, чтобы облегчить их, счастье человеческое — даже высшее — представляется так бледно, что не стоит заботиться об приращении духовной жизни, жилище святых — уходит вдаль и светится чуть-чуть заметною звездочкой. Добро и зло, правда и неправда кажутся бесконечно малыми, эфемерными величинами, а вечность и бесконечность остаются где-то вне нравственного мира. Чувство любви замирает и истощается в мире, где все доброе и все пребывающее — холодно, — истощается в своей собственной сознательно слабости и беспредметности. Сверхъестественная религия — прибавляет автор тут же, — наполняет всю эту пустоту, связуя любовь и правду с вечностью. А если она потрясена, то к чему послужит естественная религия?»

Можно ли поверить, что эти слова написаны горячим проповедником естественной религии? Так-то серьезный ум способен запутаться в сотканной им же самим умственной сети.

Сущность всей этой книги, при всей умеренности тона, при всей искренности автора, — безотрадный парадокс. Что различные мировоззрения — научное, художественное, гуманитарное, заключают в себе элементы религиозного чувства — это верно. Но они не заключают в себе элементов новой веры, новой церкви, а есть отдельные члены — *disjecta membra*³⁸ — того же христианского мировоззрения. Никакая религия невозможна без признания аксиоматических истин, недостижимых индуктивным путем. К таким аксиомам принадлежит бытие *личного* Божества, духовность души человеческой; отсюда вытекает *супернатурализм*, без которого немыслима никакая религия. Научные же истины (кроме математических) по существу своему условны, существуют сознательно лишь для людей ученых, и лишь *обманом* могут быть навязаны массам в форме догматической. Этот обман ныне и происходит... мы при нем присутствуем ежедневно.

II

Нетерпимость к чужой вере и к чужому мнению никогда еще не выражалась так решительно, как выражается в наше время, у проповедников радикальных и отрицательных учений: у них она неумолимая, жестокая, едкая, соединенная с ненавистью и презрением. Если вдуматься в отношение этих новых учителей к непризнаваемой ими вере, — оно окажется, может быть, еще ужаснее старинной религиозной нетерпимости, вызывавшей кровавые преследования за веру. В последнем случае преследование основывалось на безусловной же вере в истину безусловно существующую. Когда человек верует в данное положение, что оно *должно быть* истиною для всех, что на нем зиждется безусловное начало жизни и благо для всех и каждого, как магометанин верует в Коран³⁹, понятно, что такой человек считает своим долгом не только исповедовать открыто свое учение, но, в случае нужды, и насильно навязывать его другим. Но когда дело идет все-таки не более, как о мнении, о предположении, хотя бы и наиболее вероятном для того, кто его вывел, — как понять фанатизм такого мнения, как понять, что проповедник его не признает и не допускает ни для себя, ни для других не только противоположного мнения, но даже сделки, хотя бы условной и временной, с противоположным мнением? Между тем, такое страстное отношение к своему мнению или к мнению своей школы составляет принадлежность всех отрицательных учений. Отвергая как будто не бывшее и не сущее, всю предшествующую историю духовного развития в человечестве, не признавая ни за каким существующим издревле верованием и духовным состоянием — права на самостоятельное существование, не останавливаясь ни перед одною святыней личного верования, заключенного в душе человеческой, — они требуют для себя свободного входа во всякую душу и повсюду хотят водворить свою так называемую истину. Это называется у них верностью своим убеждениям. Один из представителей учения Конта и позитивистов⁴⁰ (John Morley *On Compromise*) говорит, напр., в своей книге, что первый долг всякого человека в отношении к себе самому и к человечеству — разрешать в душе своей вопрос: верует он или не верует в бытие Божие? Затем, если положим, он пришел к убеждению, что вера в Бога есть не что иное, как слепое и безумное суеверие, — долг его, самый священный, вторгаться с этим убеждением во всякую душу, пользоваться всяким случаем и поводом, чтобы передавать это убеждение — прежде всего родным и близким, а потом, если можно провести его в массу, — всюду

выказывать его и отвергать безусловно всякие явления и формы частного и общественного быта, в которых прямо или косвенно выражается вера, противоположная этому убеждению... Такой образ действия — что же иное, как не страшное насилие над чужою совестью, и во имя чего? Во имя только своего личного мнения!

Не видать и не слышать ни любви, ни веры в этой бездне самолюбия! А без любви и веры нет истины. Какая разница — слышать голос старого, истинного учителя. Сколько веры и любви, сколько глубокого знания души человеческой в апостольском слове к Коринфянам о том, как следует уважать человеческую совесть. Он знает, что есть истина, но и с этою истиною духовного ведения, как осторожно велит он подступать к душе человеческой. Главное дело состоит в том, чтобы душа приняла и обняла новую для нее истину *в духе искренности и правды*, без раздвоения, без разлада с собою, прямою цельною верой. Все, что не от веры, — грех. И апостол учит сильных, знающих, чтоб они щадили совесть слабой братии *в самом суеверии*, куда душа не созрела еще до восприятия истины цельною верой.

Вы знаете, — говорит он, — что пища не поставит нас пред Богом: едим ли мы — не приобретаем; не едим ли — не лишаемся. Вы знаете, что идол — ничто, что ложный бог не существует вовсе, и потому вы с спокойною совестью покупаете на торгу и едите мясо, которое принесено было в жертву идолу. Но не у всех такое ведение: есть слабые, у которых может быть *идольская совесть*, для которых идол — есть еще нечто существующее, страшное и злое: для них есть такое мясо — значит принести жертву идолу, и когда они видят, что вы едите его, их слабая совесть соблазняется, то есть приходит в разлад, в раздвоение по предмету веры. Итак, чтобы не соблазнять совестью слабого брата, лучше не есть мяса вовеки. Апостол — проповедник *свободы* христианской, происходящей от уверенности, жертвует в этом случае *свободою* — охранению *совести*, — потому что совесть для него всего дороже.

III

Удивительно безумие, до которого доходят умные люди, выросшие в отчуждении от действительной жизни и ослепленные гордою уверенностью в непогрешимость разума и логики. Обожание разума, отвратив их от положительной религии, доводит их, наконец, до ненависти ко всякому верованию в Единого

Живого Бога. Но те из них, которые добросовестны настолько, что не могут отвергать потребности в вере, заявляемой всем человечеством, — те, у кого есть еще сердце, не совсем иссушенное черствостью логикой мысли, — допускают законность религиозного чувства в природе человеческой и пытаются удовлетворить его какою-то новою, ими измышленною религией. Вот тут и приходится дивиться мечтательности планов, изобретаемых умами, по-видимому, стремящимися изгнать все, похожее на мечту, из своих выводов и соображений. Штраус в своем сочинении «О старой и новой вере», отвергая христианство, говорит с энтузиазмом о религиозном чувстве, но предметом его и центром ставит вместо Живого Бога — идею вселенной, так называемое *Universum*. В Лондоне появились в свет найденные по смерти Милля отрывочные мысли его о религии под заглавием: «Три статьи о религии: Природа, Польза религии и Деизм»⁴¹. Пользу религии он признает несомненно, но отвергает христианство, хотя выражается о лице Христа с величайшим энтузиазмом. «Невозможно, — говорит он, — оспаривать великое значение религии для отдельного человека: это источник личного удовлетворения и высокого духовного настроения для каждого. Но спрашивается, для достижения этого блага необходимо ли переступить за границы обитаемого нами мира, или и без того одна идеализация нашей земной жизни, одно возбуждение и развитие высших о ней представлений могут создать для нас поэзию и даже, в высшем смысле этого слова, религию, такую, которая была бы способна возвышать чувства наши и могла бы (с помощью воспитания) еще лучше, чем вера в существа невидимые, благородить наше существование и деятельность?»

Вопрос, — достойный Милля, каким мы его знаем по истории его воспитания. Любопытно, как же он решает этот вопрос. Милль не мог искать решения, подобно Штраусу, в идее вселенной; не мог потому, что Милль, странно сказать, не верует в природу; в начале той же книги он, верный, как всегда, отчуждению своему от жизни, входит в исследование: «насколько верно то учение, которое полагает в природе мерило правды и неправды, добро и зло, и руководственным началом для человека ставит сообразование с природою или подражание природе». Этого учения Милль не признает, потому что в природе видит слепую силу, и ничего более. Она внушает желанья, которых не удовлетворяет, воздвигает великие дарования, силы и дела с тем, чтоб в одно мгновение сокрушить их, словом сказать, разоряет в миг, слепо и случайно, все, что ею самою создано. Оттого Милль отказывается строить на природе какую бы то ни было систему нравственности или религии.

Что же придумывает Милль? Вот подлинные слова его: «Когда представим себе, до какого сильного и глубокого чувства может достигнуть при благоприятных условиях воспитания любовь к отечеству, нам станет понятно, что очень возможно и любовь к обширнейшему отечеству, то есть к целому миру, довести до подобной же силы развития и обратить ее в источник высших духовных ощущений и в начало долга. Кто желает ознакомиться с понятиями древности об этом предмете, пусть читает Цицеронову книгу «De officiis»⁴². Нельзя сказать, чтоб мера нравственности, устанавливаемая в этом знаменитом рассуждении, была очень высока. По нашим понятиям это нравственность во многих случаях очень слабая и допускающая сделки с совестью. Но относительно одного предмета — относительно долга к отечеству — не допускает она никакой сделки. Чтобы человек, имеющий хотя малую претензию на добродетель, на минуту призадумался пожертвовать отечеству жизнью, честью, семейством, — всем, что ему дорого на свете, этого не допускал и в предположении славный проповедник греческой и римской нравственности. Итак, история показывает, что людям можно было привить воспитанием не только теоретическое убеждение в том, что благо отечества должно быть выше всяких иных соображений, но и практическое сознание, что в этом состоит величайший долг жизни. Если это было возможно, то почему же нельзя внушить им чувство точно такого же безусловного долга относительно общего блага для целого мира? Такая нравственность в природе высоко одаренной почерпала бы силу из чувства симпатии, благоволения, восторженного одушевления идеальным величием, а в натурах низшей организации — из тех же чувств, по мере природного их развития, да притом еще из чувства стыда. Эта высокая нравственность не зависела бы несколько от надежды на награду. Единственной наградой, которую имели бы в виду, и мысль о коей служила бы утешением в печали и опорой в минуты слабости, — единственной наградой было бы не сомнительное загробное бытие (!), — но в этой жизни одобрение всех уважаемых нами людей, и, в идеальном смысле, одобрение всех, как живых, так и умерших людей, кого мы чествуем и кого похваливаем. Действительно, та мысль, что дело наше одобрили бы умершие друзья и родные наши, когда бы были живы, способна одушевить нас не менее, чем мысль об одобрении современников... Сколько раз люди высокого духа одушевлялись к делу мыслью о том, что им сочувствовал бы Сократ, Говард, Вашингтон, Антонин. Если такое настроение духа назовем просто нравственным, слово это будет недостаточно. Оно есть дейст-

вительно — *религия*: добрые дела составляют только часть религии, плоды ее, но не самую религию. Сущность религии состоит в крепком и серьезном направлении чувств и желаний к идеальной цели, превосходящей все личные цели и желания. Это условие осуществляется в религии *гуманности* точно так же, как и в сверхъестественных религиях: я убежден даже, что осуществляется еще лучше и совершеннее»...

Приведенные слова сами за себя говорят. Они показывают всю близорукость, — лучше сказать — все безумие человеческой мудрости, когда она хочет делать отвлеченную конструкцию жизни и человека, не справляясь с жизнью и не зная души человеческой. Такая религия, какую воображает Милль, может быть, пожалуй, достаточна для подобных ему мыслителей, заключивших себя от всего мира в скорлупу отвлеченного мышления; но разве может принять ее и понять ее народ, — живой организм — объединяющийся только живым чувством и сознанием, а не мертвым и отвлеченным началом? В народе такая религия, если б могла быть введена когда-либо, оказалась бы поворотом к язычеству. Народ, который нельзя себе представить в отделении от природы, — если б мог позабыть веру отцов своих, — снова олицетворил бы для себя как идею — вселенную, разбив ее на отдельные силы, или то человечество, которое ставят ему в виде связующего духовного начала, разбив его на представителей силы духовной, — и явились бы только вновь многие лживые боги вместо единого Бога истинного... Неужели этому суждено еще сбыться?!

НОВАЯ ВЕРА И НОВЫЕ БРАКИ

Нас уверяют, что старой нашей вере приходит конец, что ее сменит новая вера, которой заря, будто бы, занимается. Бог даст, если это и случится, то еще не скоро, — и если случится, то лишь на время. Конечно, то будет время не просвещения, а помрачения.

В старой вере нашей — истина природы человеческой, истина непосредственного ощущения и сознания, та истина, которая отзывается вправду, из глубины духа, на слово божественного откровения. Эта истина есть — и зерно ее лежит в каждой душе. Про нее сказано: «всяк, иже есть от истины, послушает гласа Моего».

Старая вера наша основана на том, что каждый человек чувствует в себе живую душу, бессмертную, единую, и этой живой

души не смешивает ни с природою, ни с человечеством, и в ней хочет жить перед Богом и перед людьми, и в ней хочет жить вечно. Своей живой душою вступает он в свободный союз любви с другими людьми, и как живет ею, так и отвечает за нее сам. Ею ощущает он своего Создателя, так же просто, как живет, и в этом простом ощущении, независимо от разума, обретает свою веру.

Являются проповедники новой веры. Одни смеются над старою верой — и все хотят разрушить, не желая создавать нового. Другие, по-видимому, серьезнее; они *премудрости ищут* и хотят навязать нам свою надуманную премудрость; всякий из них предлагает нам свое сочинение, свою конструкцию веры, потому что, сознавая все-таки необходимость верования, они хотят только сочинить свое. Но какие жалкие это сочинения! Все они бессильны собрать около себя и одушевить живую идею — живые человеческие души, потому что ни одно из них не ставит живого Духа Божия в центре верования.

В последнее время много появилось отдельных систем, в которых философы, каждый по-своему, стараются построить для человечества — *веру без Бога*. Все воображают, что построили такую веру *разумом*; но это неправда. Разуму человеческому, — когда он рассуждает прямым путем, не закрывая от себя и не отрицая фактов, существующих в природе и в душе человеческой, — некуда деваться от идеи о Боге. Настоящий источник безбожия не в разуме, а в *сердце*, совершенно так, как сказано пророком: сказал безумный в *сердце* своем: нет Бога. В сердце, т. е. в желании, источник всякого падения, — как бы ни старался разум осмыслить себе всякое падение. Начинается всегда с того, что сердце ищет себе полной свободы и возмущается против заповеди и против Того, у Кого начало и конец всякой заповеди. Чтобы освободиться от заповеди, нет другого пути, как отвергнуть верховный авторитет ее и поставить на место его свой авторитет, свое *знание*. Повторяется, в бесконечные веки, самая старая из всех человеческих историй. «Ты сам можешь знать добро и зло; сам можешь быть себе Богом». Вот откуда искони идет безбожие.

Но чудно, по правде, видеть, как разум сам себя обманывает. Какая, кажется, религия без Бога, — а такую именно религию проповедуют безбожники. Они говорят: «вместо старых сказок о Боге возьми действительную истину. Бога не видать нигде; действительно есть — *природа*, действительно есть — *человечество*. Оно не только факт, оно есть сила, способная дойти с течением веков и тысячелетий, посредством опыта и разума, до безгра-

ничного развития, до невообразимого совершенства. В этой идее столько внутренней глубины и силы, что она совершенно достаточно заменить человеку вполне религиозное чувство и связать всех людей воедино общей религией *человечества*. (Разве это не все равно, что библейское будете яко божи?) Таково учение новейшей *позитивной* науки и так называемого *утилитаризма*⁴³.

Но вот, с другой стороны, появляется знаменитый апостол Тюбингенской школы богословия⁴⁴, столп библейской ученой критики, доживший до старости в ученом отрицании исторических основ христианства. Это доктор Штраус, автор «Жизни Иисуса», автор новой своей книги «О старой и новой вере», в которой он сам говорит, что изложил исповедь свою, результат всех ученых трудов своих и философских размышлений о Боге, природе и человеке. В ту пору, когда он был еще молод и писал свою «Жизнь Иисуса», он входил еще осторожно и с некоторым уважением в разбор фактов, освященных вековым верованием человечества, касался еще вдумчиво до основных идей, лежащих в глубине верования; в нем еще слышались остатки богопочтения. Но теперь, когда он говорит о Боге, в слове его слышится как будто раздражительное ожесточение против Бога, как против вредной и лживой басни, извратившей мысль человеческую. Слышно, как «сердится Юпитер».

Но, отвергая Бога, Штраус, по странному противоречию мысли, не хочет расстаться с религиозным чувством. Он сознает в себе *потребность* этого чувства, сознает и присутствие религиозного ощущения. Что же служит предметом его, что может иметь достаточную силу для того, чтобы овладеть душой и наполнить ее? Не личное божество, которого нет, — отвечает Штраус, — но *вселенная* (Universon), составляющая источник всяческого блага и всяческой силы и существующая по закону чистейшего разума. Мы *требуем*, говорит он, для этой вселенной того же самого благоговеющего чувства, с которым добрый человек старой веры относился к своему Богу.

Что же такое эта вселенная и есть ли в ней что духовное? Отвечая на этот вопрос, Штраус являет в себе последователя *позитивной* философии и новейшего материализма. Учение Канта и Лапласа об исключительном действии механических сил в планетарной системе распространяет он безусловно на все явления животной и психической жизни, почитает дух человеческий не иным чем, как результатом сложного действия одних материальных, механических сил. Души в духовном смысле не признает Штраус. Естественно, что он следует восторженно теории Дарвина о происхождении видов, не ограничиваясь приложением

этой теории к явлениям внешнего мира, но распространяя ее произвольно и мечтательно на всякого рода явления жизни. Противоречия и скачки в выводах нисколько не смущают его. Все сомнения устраняются в нем его *новою верой*, верой в излюбленную им гипотезу — несовместимую, по его мнению, с бытием Бога. Нужды нет, что то или другое общее положение (например, о произвольном зарождении) еще не доказано. Не знаю, как именно и когда — говорит Штраус, — но оно непременно будет доказано. В проблеме о происхождении человека он не задумывается над трудными вопросами о том, как объяснить и как согласить с системою — происхождение в человеке умственных сил, нравственных идей, эстетических понятий (Все объясняет одно, точно магическое, словечко: *натуральный подбор особей*). Подлинно, если в этом мечтательном увлечении излюбленную теорией заключается новая вера, то она есть не что иное, как *новое суеверие*. Учение Дарвина появилось как нельзя более кстати в подкрепление проповедникам новой веры. Оно как будто озарило их новым светом, как будто принесло им ключевой камень, которого не доставало, чтобы замкнуть свод над целою системою. Ухватившись за это учение, многие уже готовы провозгласить или провозглашают старую веру окончательно разбитую и уничтоженную. Со всех сторон спешат прилагать начала, выведенные Дарвиным, ко всем явлениям общественного быта — и выводят из них такие последствия, о которых, может быть, не помышлял сам Дарвин. Школа, — как нередко случается, забегает вперед учителя и, пожалуй, вскоре провозгласит его самого отсталым. Между тем, учение Дарвина само по себе едва ли оправдывает те опасения за целостность веры, которые возбудило оно во многих ее ревнителях. Система Галилея, теория Ньютона, новые открытия в геологии — возбуждали в свое время еще более волнений и опасений; но вера верующих не пострадала от них. То же будет, конечно, и с учением Дарвина. Притом в настоящее время и его нельзя еще признать утвердившимся в науке, и первый энтузиазм, им возбужденный, начинает ослабевать. В него веруют безусловно только *dii minorum gentium*⁴⁵. Передовые люди науки уже начинают убеждаться в том, что это учение в сущности представляет только гипотезу, более или менее вероятную, но еще не удостоверенную достаточным числом данных; и что положения, выведенные гениальным ученым из многочисленных его наблюдений, в сущности оказываются смелыми и остроумными обобщениями подмеченных им явлений, — еще остающимися много места недоумениям и сомнениям.

Но эти положения, возведенные на степень непреложной истины, повторяются уже массою как *verbum magistri*⁴⁶, и стали, с

одной стороны, поговоркою в устах пошлых болтунов либерализма, с другой стороны, многим серьезным умам дали основание для множества новых умственных комбинаций. Кто нынче не говорит о Дарвине? Кто не играет словами: *естественный подбор, половой подбор, борьба за существование?* Однако не одних людей легкомысленных, но и людей подлинно ученых и серьезных — учение Дарвина заставляет делать странные скачки в рассуждениях и выводах науки; заставляет высказывать такие речи, которые здравому, не предубежденному суждению представляются не иначе, как фантазией или безумием. Это случается всего чаще тогда, когда при помощи Дарвинова учения хотят построить и завершить систему такого мирозерцания, в котором не оставалось бы места Божеству. И действительно, Дарвиново учение очень выгодно для аргументации нового материализма. Человек, по мнению Дарвина, совершенно напрасно присваивал себе и своему духу какое-то особое, привилегированное положение во вселенной; на этом основании он воображал себя одного в числе прочих животных под прямым и личным водительством Божества. Это заблуждение, и заблуждение вредное (*the pernicious idea*). Человек, как и всякое иное животное, есть не что иное, как продукт последовательного и безграничного развития природных форм животной жизни. Желающему нетрудно вывести отсюда такое заключение, что, *стало быть*, Бога нет и нет души бессмертной. Далее, из учения Дарвинова следует, что все существующие формы живого бытия образовались и все последующие образуются из вековечного и непрестанного движения материи, выводящего из одной формы другую, с новым развитием и с новыми орудиями для потребностей. Желающему нетрудно вывести отсюда такое заключение, что в самой материи заключается творческая сила — именно это вековечное движение; что в нем заключается вся будущность природы и человечества — способная к безграничному прогрессу и совершенствованию, и что затем нет никакой надобности отыскивать еще вне самой материи конечную творческую силу, равно как и промысл Создателя о вселенной и человеке. Понятно, как сходится такой вывод со вкусом мысли, отвергающей Бога и верующей в человечество. Непонятно только, как может здравый смысл поверить в вечность материи, отвергая начальную ее причину, и поверить тому, что движение, само по себе, движение чего бы то ни было, одним течением — хотя бы и вековечного времени — способно произвести все, что угодно представить себе любому воображению.

Печальное будет время — если наступит оно когда-нибудь, — когда водворится проповедуемый ныне новый культ человечест-

ва. Личность человеческая немного будет в нем значить; снимутся и те, какие существуют теперь, нравственные преграды насилию и самовластию. Во имя доктрины, для достижения воображаемых целей, усовершенствованию *природы* будут приноситься в жертву самые священные интересы личной свободы, без всякого зазрения совести; о совести, впрочем, и помина не будет при воззрении, отрицающем самую идею совести. Наши реформаторы, воспитавшись сами в кругу тех представлений, понятий и ощущений, которые отрицают, не в состоянии представить себе ту страшную пустоту, которую окажет нравственный мир, когда эти понятия будут из него изгнаны. Каковы бы ни были увлечения нынешнего законодателя, правителя, нынешней власти всякого рода, — над нею все-таки носится безотлучно, хотя и не всегда сознательно, представление о личности человеческой, о такой личности, которую нельзя раздавить так, как давят насекомое. Это представление имеет корень в вековечном понятии о том, что у каждого человека есть живая душа, единая и бессмертная, следовательно, имеющая *безусловное бытие*, которое не может истребить никакая человеческая сила. Оттого между нами нет такого злодея и насильника, который, посреди всех своих насилий, не озирается бы на попираемую им живую душу с некоторым страхом и почтением. Отнимите это сознание: — во что превратится законодательство наше, правительство наше и наша общественная жизнь? Поборники личной свободы человека страшно обольщают себя, когда во имя этой свободы присоединяются к возникающему культу человечества.

К счастью, можно понадеяться, что эти новые горизонты, которые возвещает нам в будущем гуманитарное учение, никогда не откроются для человечества, или, по крайней мере, откроются не для всех и не надолго. Что могли бы нам открыть эти горизонты новой веры и новой жизни, — о том мы можем судить лишь по некоторым выводам и политическим приложениям, на которые от времени до времени нам указывают. Вот один из образчиков такого приложения дарвинизма к сфере практического законодательства. Есть особое рассуждение Дарвина «о благодетельных для человечества стеснениях брачного союза». В самом начале статьи Дарвин объясняет, что одна из основных идей христианства — есть идея о личной ответственности каждого человека за свою душу и о независимости человека, в духовной его сфере, от других людей. Вследствие того предполагается, что человек вправе располагать, на свой ответ, и своим телом. Эта идея и это право, должны, по мнению Дарвина, уступить действию нового открытого им закона, — его так называе-

мой эволюционной доктрине. Человек вправе располагать своим телом и позволять себе удовлетворение телесных потребностей лишь потолику, поколику то и другое согласуется с нормальным развитием целой *породы*. Итак, по мере того, как наука дарвинизма будет из своих наблюдений над фактами материальной жизни делать новые выводы и обобщения закона эволюции, законодательство может и должно стеснять личную свободу человека даже в удовлетворении органических его потребностей...

Ссылаясь на статистические данные, собранные в двух-трех ученых сочинениях о физиологическом влиянии наследственности на человеческий организм, Дарвин утверждает, что в Англии на каждый 500 человек приходится один безумный, что это безумие происходит в большей части случаев от наследственного к нему расположения, передаваемого браком и рождением, и что количество отдельных случаев безумия увеличивается со временем в геометрической прогрессии. Итак, человеческой природе угрожает безограниченное распространение зла, против коего необходимо принять меры. С этим выводом можно согласиться. Все дело состоит в том, какие потребны меры. Дарвин, с своей точки зрения, предлагает стеснить для человечества до крайней возможности свободу вступления в брак. «Необходимо, говорит он, улучшить, укрепить физический организм в породе человеческой; для этой цели мы должны придумать искусственное средство *в замену ослабевшей силы естественного подбора* (natural selection). Только при таком условии возможен прогресс в породе человеческой. *Mens sana in corpore sano*⁴⁷. *Успехи врачебного искусства служат в этом случае не к общей пользе, а ко вреду*. Нет сомнения, что в массе нашего цивилизованного общества уровень здоровья понизился до тревожных размеров и что врачебное искусство, *поддерживая слабые организмы, будет только увеличивать зло для будущих поколений*. Необходимо, по мнению Дарвина, *сократить число слабых вступающих в брак в состязание с сильными в борьбе за существование*».

И вот какие средства предлагает Дарвин законодательству для этой цели. Все существующие ныне в законе препятствия ко вступлению в брак должны оставаться в силе. Сверх того, закон должен, *во-первых*, признать решительным поводом к разводу появление у одного из супругов некоторых болезней. Каких? Дарвин приводит целую номенклатуру болезней, передаваемых по наследству; мы находим здесь болезни легких, желудка, печени, подагру, золотуху, ревматизм и т. п., так что всякому супругу, не обладающему геркулесовским здоровьем, приходилось бы трепетать ежедневно за целостность своего брачного союза, тем бо-

лее, что расторжение его по болезни было бы связано с государственным интересом, или, правильнее сказать, с интересом всего человечества. И можно думать, что Дарвин имеет в виду приложение к делам этого рода — следственного процесса, потому что далее, *во-вторых*, предлагает он ввести общую систему медицинского осмотра для удостоверения упомянутых болезней, по образцу принятой в *Германии системы осмотра для удостоверения способности к военной службе*. *В-третьих*, Дарвин предлагает постановить следующее правило. Никто не может вступить в брак, не представив удостоверение в том, что он никогда в жизни своей не страдал припадками безумия. Мало того. Он должен еще представить *чистую свою родословную* (untainted pedigree), т. е. доказать, что его родители и даже дальнейшие, восходящие и боковые родственники никогда не имели подобных припадков. Все это необходимо, — поясняет Дарвин, — для того, чтобы в массе человечества значительно умножилась способность к счастью (capacity for happiness), с уничтожением главного препятствия к счастью, т. е. болезни.

Возможно ли вводить такие стеснения? — спрашивает сам Дарвин, и отвечает: пустяки! Такие ли еще стеснения существуют в разных брачных законах. В доказательство приводит он на трех страницах примеры из разных законодательств, больше всего из варварских, ссылаясь заодно и на Пруссию, и на Сиам, и на Китай, и на Мадагаскар, и на остяков с тунгусами. Ему нравится, по-видимому, всякое запрещение вступать в брак и всякий повод к разводу. В конце своей речи он даже не останавливается на самом простом вопросе, который можно было бы предложить ему: к сему послужат законные запрещения брака, когда помимо брака невозможно будет удержать натурального сожития и, стало быть, деторождения? Может быть, вопрос этот и приходил на мысль автору, но достаточным на него ответом представлялся ему приведенный в той же статье пример Японии, где *проституция* не только терпима, но даже под рукою покровительствуется государством, так как ею задерживается *чрезмерное нарождение людей*...

Так судит сам первоверховный апостол дарвинизма! Очевидно, что основным законом бытия представляется ему «охранение сильных и истребление слабых». И это самое правило хочет он, по-видимому, возвести в *положительный закон* для гражданского общества. Вот образчик крайнего увлечения одностороннею идеей, собственного изобретения. Кроме ее — будущий законодатель общества ничего не видит и не признает, по-видимому, в жизни и развитии никаких иных мотивов, кроме фи-

зиологических. О нравственных мотивах не упоминает он вовсе. Сильные и слабые организмы представляются ему числами, отвлеченными величинами, на которых он делает расчет математически. Он даже не задает себе вопроса о том: действительно ли сильным его прибудет силы от того, что погибнут все слабые? Он не хочет знать той истины, что всякая сила возрастает от деятельности, от испытания и упражнения, и что сильным не на чем будет испытывать и возвращать свою силу, когда не будет слабых, требующих помощи и покровительства; что сами слабые, возрастая при благоприятных условиях, могут окрепнуть, достигнуть силы и стать способными передать ее другому поколению. Наконец, и сильные, устоявшие в натуральной борьбе, способны ли будут послужить к усовершенствованию породы, если сила их будет поддерживаться механическим процессом на счет слабых?

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

I

Старые учреждения, старые предания, старые обычаи — великое дело. Народ дорожит ими, как ковчегом завета предков. Но как часто видела история, как часто видим мы ныне, что не дорожат ими народные правительства, считая их старым хламом, от которого нужно скорее отделаться. Их поносят безжалостно, их спешат перелить в новые формы и ожидают, что в новые формы немедленно вселится новый дух. Но это ожидание редко сбывается. Старое учреждение тем драгоценно, потому незаменимо, что оно не придумано, а создано жизнью, вышло из жизни прошедшей, из истории, и освящено в народном мнении тем авторитетом, который дает история и... одна только история. Ничем иным нельзя заменить этого авторитета, потому что корни его в той части бытия, где всего крепче связуются и глубже утверждаются нравственные узы — в *бессознательной* части бытия. Напрасно полагают иные, что можно заменить его сознанием *идеи* вновь введенного учреждения, которое желают привить к народной мысли; только отдельные лица могут скоро усвоить себе такое сознание рассудочною силой и найти в нем для себя источник одушевления и веры. Для массы недоступно такое сознание, когда хотят его привить к ней извне, оно преломляется, дробится, искажается в ней, возбуждая лживые и фантастические представления. Масса усваивает себе идею только

непосредственным чувством, которое воспитывается и утверждается в ней не иначе, как историей, передаваясь из рода в род, из поколения в поколение. Разрушить это предание возможно, но невозможно, по произволу, восстановить его.

В глубине старых учреждений часто лежит *идея*, глубоко верная, прямо истекающая из основ народного духа, и хотя трудно бывает иногда распознать и постигнуть эту идею под множеством внешних наростов, покровов и форм, которыми она облечена, утративших в новом мире первоначальное свое значение, но народ постигает ее чутьем и потому крепко держится за учреждения в привычных им формах. Он стоит за них, со всеми оболочками, иногда безобразными и, по-видимому, бессмысленными, потому что оберегает инстинктивно зерно истины, под ними скрытое, оберегает против легкомысленного посягательства. Это зерно всего дороже, потому что в нем выразилась древним установлением исконная потребность духа, в нем отразилась истина, в глубине духа скрытая. Что нужды, что формы, которыми облечено установление, грубые: грубая форма — произведение грубого обычая, грубого нрава, — внешней скудости, явление переходящее и случайное. Когда изменятся к лучшему нравы, тогда и форма одухотворится, облагородится. Очистим внутренность, поднимем дух народный, осветим и введем в сознание *идею*, — тогда грубая форма распадется сама собою и уступит место другой, совершеннейшей; внешнее само собою станет чисто и просто.

Но этого не хотят знать народные реформаторы, когда расшвирепуют негодованием на грубость формы и на злоупотребление в древних установлениях. Из-за обрядов и форм они забывают о сущности учреждения и готовы разбить его совсем, ничего в нем не видя, кроме грубости и обрядного суеверия. Сами они думают, что перешли через него, пережили его и могут без него обойтись, но забывают о миллионах, которым оно доступно по мере быта и духовного развития их лишь в этой грубой обрядности. Разбейте ее в виду народа, — и народ, только ее знающий, утратит с обрядностью целое учреждение, утратит, может быть, навсегда, возможность уловить снова заложенную в нем предками идею и облечь ее в новую форму. Не лучше ли было бы начать преобразование изнутри, просветив сначала дух народный, углубить в нем идею, очистить и обогатить нравственный и умственный быт его? Тогда и идея была бы спасена, и насилия народной жизни не было бы, и грубая форма сама собою перелилась бы в новую.

«Великое дело, — говорит Карлейль, — существующее, действительное, то, — что возникло из бездонных пропастей теории

и возможности, образовалось и стоит между нами определительным, бесспорным фактом, на котором люди живут и действуют, жили и действовали. Недаром так крепко держатся за него люди, пока он стоит еще, с такой скорбью покидают его, когда он рассыпается и уходит. Остерегись же, опомнись, восторженный поклонник перемены и преобразований! Подумал ли ты, что значит обычай в жизни человечества, как чудно все наше знание, вся наша практика повешены над бесконечно бездной неведомого, несодеянного — и все существо наше точно бесконечная бездна, через которую переброшен мост обычая, тонким земляным слоем, сложенным вековой работой...

«Этот земляной мост — система обычаев, определенных путей для верования и для делания: не будет его — не будет и общества. С ним оно держится; хорошо ли, худо ли, — существует. В них, в этих обычаях, истинный кодекс законов, истинная конституция общества; единственный, хоть и неписанный, кодекс, которого никоим образом нельзя не признать, которому нельзя не повиноваться. Что мы называем писанным кодексом, конституцией, образом правления, — все это разве не миниатюрный образ, не экстракт ли того же неписанного кодекса? Да, таким должен быть писанный закон, и таким всегда стремится быть, но никогда не бывает, и в этом противоречии начало борьбы бесконечной...

Но если в обычае ты чувствуешь ложь и эта ложь давит тебя, неужели оставить ее, неужели уважать ее, неужели не разрушить ее? Да, не мирись с ложью и разрушай ложь, но помни, в каком духе разрушаешь: смотри, чтобы не в духе ненависти и злобы, не с насилием эгоизма и самоуверенности, а в чистоте сердца, со святою ревностью к правде, с нежностью, — с состраданием. Смотри — разрушая ложь, не заменяешь ли ты ее новой ложью, новой неправдой, от тебя самого исходящей, своею ложью, своей неправдою, от которой новые лжи и неправды родятся? Если так, — последние у тебя будут горше первых»...

II

Из-за свободы ведется вековая брань в мире человеческих учреждений и отношений, но где она, эта свобода, — если нет ее в душе человеческой? Отовсюду разум ополчается на старые авторитеты и стремится разрушить их по-видимому для свободы, но на самом деле для того, чтобы поставить на место их авторитеты настоящей минуты, вновь изобретенные сегодня, может

быть, для того только, чтобы завтра на смену им явились еще новые. Современный проповедник разума и свободы смотрит презрительно на православно-верующих за то, что они держатся веры, которую приняли в церкви от отцов и дедов, и остаются верны преданию, но и он разве сам из себя выработал то, что считает основными мнениями своими о церкви и о главных предметах жизни духовной? Он осмеивает благоговейное чувство церковного человека и называет его суеверием. А у него самого за плечами стоит так называемое общественное мнение и связывает его благоговейным страхом: разве это не величайшее из суеверий? — Нам дорого наше прошедшее, и мы относимся с уважением к истории. Он смеется, он презирает прошедшее и верует в настоящее; но это поклонение настоящему чем лучше нашего, осмеянного им чувства? Нам говорят: сбросьте с себя ярмо закона, разорвите вековые цепи предания, и будете свободны... Но какая же это свобода, когда вместе с тем настоящее *statu quo*⁴⁸ возводится нами в закон и ложится на нас ярмом еще тяжелее прежнего, когда вместо непогрешимого и вдохновенного Писания, которое отнимают у нас, велят нам верить в непогрешимость мнения толпы народной, и хотят, чтобы в большинстве голосов слышали мы непререкаемый и непогрешимый голос истины!

III

Старые листья

(Из Саллета)

Срывая с дерева засохшие листья,
 Вы не разбудите заснувшую природу,
 Не вызовете вы, сквозь снег и непогоду,
 Весенней зелени, весенней теплоты!

Придет пора — тепло весеннее дохнет,
 В застывших соках жизнь и сила разольется,
 И сам собою лист засохший отпадет,
 Лишь только свежий лист на ветке развернется.

Тогда и старый лист под солнечным лучом,
 Почувяв жизнь, придет в весеннее брожение:
 В нем — новой поросли готовится назем,
 В нем — свежий сок найдет младое поколенье...

Не с тем пришла весна, чтоб гневно разорять
 Веков минувших плод и дело в мире новом:
 Великого удел — творить и исполнять:
 Кто разоряет — мал во царствии Христовом.

Не быть тебе творцом, когда тебя ведет
 К прошедшему одно лишь гордое презренье.
 Дух — создал старое: лишь в *старом* он найдет
 Основу твердую для *нового* творенья.

Век будут истинны — пророки и закон,
 В черте единой — вечный смысл таится,
 И в новой истине лишь то должно открыться,
 В чем был издревле смысл глубокий заложен.

IV

Один разве глупец может иметь обо всем ясные мысли и представления. Самые драгоценные понятия, какие вмещает в себе ум человеческий, — находятся в самой глубине поля и в полумраке; около этих-то смутных идей, которые мы не в силах привести в связь между собою, — возвращаются ясные мысли, расширяются, развиваются, возвышаются. Если б отрезать нас от этого заднего плана, — в этом мире остались бы только геометры да понятливые животные; даже точные науки утратили бы в нем нынешнее свое величие, зависящее от скрытого их отношения к другим бесконечным истинам, которые мы только угадываем и в которые лишь по временам как будто прозираем. Неизвестное — это самое драгоценное достояние человека: недаром учил Платон, что все в здешнем мире есть слабый образ верховного домостроительства. Кажется даже, что главное действие красоты, которую мы видим, состоит в возбуждении мысли о высшей красоте, которой не видим, и очарование, производимое, например, великими поэтами, состоит не столько в картинах, ими изображаемых, сколько в тех дальних отголосках, которые они будят в нас и которые идут из невидимого мира.

V

Карус в своем известном сочинении *О душе* (Psyche), — говорит, что ключ к уразумению существа *сознательной* жизни души лежит в области *бессознательного*. В своей книге он исследует взаимное отношение сознательного к бессознательному в жизни

человеческой, и высказывает много глубоких мыслей. Божественное в нас, — говорит он, — что мы называем душою, не есть что-либо раз остановившееся в известном моменте, но есть нечто непрестанно преобразующееся в постоянном процессе развития, — разрушения и нового образования. Каждое явление, бывающее во времени, есть продолжение или развитие прошедшего и содержит в себе чаяние будущего. Сознательная жизнь человека разлагается на отдельные моменты времени, и ей доступно лишь смутное представление своего существа в прошедшем и будущем, настоящая же минута от нее ускользает, ибо едва явилась — как уже переходит в прошедшее. Приведение всех этих моментов к единству, сознание *настоящего*, т. е. обретение истинного твердого пункта между настоящим и будущим, возможно лишь в области бессознательного, т. е. там, где нет времени, но есть вечность. Известные мифы греческой древности об *Эпиметее* и *Прометее* имеют глубокое значение, и недаром греческая мудрость поставила их в связь с высшим развитием человечества. Вся органическая жизнь напоминает нам эти две оборотные стороны творческой идеи в области бессознательного. И в мире растительном, и в мире животном каждое побуждение, каждая форма дают нам знать, когда мы вдумываемся, что здесь есть нечто, возвращающее нас к прошедшему, к явившемуся и бывшему прежде, и предсказывает нам нечто, имеющее образоваться и явиться в будущем. Чем глубже мы вдумываемся в эти свойства явлений, тем более убеждаемся, что все, что в *сознательной* жизни мы называем памятью, воспоминанием, и все то в особенности, что называем предвидением и предведением, — все это служит лишь самым бледным отражением той явности и определенности, с которою эти свойства воспоминания и предвидения открываются в *бессознательной* жизни

В сочинении Каруса исследуются случаи, в коих сознательная жизнь души, приостанавливаясь, переходит иногда внезапно в область бессознательного. Замечательно, говорит он, внезапное и произвольное возникновение в нашей душе давно исчезнувших из нее представлений и образов, равно как и внезапное исчезновение их из нашего сознания, причем они сохраняются и соблюдаются однако в глубине бессознательной души. Представления о лицах, предметах, местностях и пр., даже иные особенные чувства и ощущения, иногда в течение долгого времени кажутся совсем исчезнувшими, как вдруг просыпаются и возникают снова со всею живостью, и тем доказывают, что в действительности не были они утрачены. Бывали отдельные очень удивительные случаи, в коих разом сознание с необыкновенною

ясностью простиралось на целый круг жизни со всеми ее представлениями. Известен случай этого рода с одним англичанином, подвергавшимся сильному действию опиума: однажды в период сильного возбуждения перед наступлением полного притупления чувств, ему представилась необыкновенно ясно и во всей полноте картина всей прежней его жизни со всеми ее представлениями и ощущениями. То же, рассказывают, случилось и с одною девицей, когда она упала в воду и утопала, в минуту перед совершенною потерей сознания.

Карус не приводит подробностей и не ссылается на удостоверение приведенного случая: многим, без сомнения, доводилось тоже слышать подобные рассказы в смутном виде. Но вот единственный, нам известный, любопытный и вполне достоверный рассказ о подобном событии самого того лица, с коим оно случилось.

Это случилось с очень известным английским адмиралом Бьюфортом в Портсмуте, когда он в молодости опрокинулся с лодкой в море и пошел ко дну, не умея плавать. Он был вытасчен из воды и впоследствии, по убеждению известного доктора Волластона, записал странную историю своих ощущений. Вот этот рассказ во всей его целости.

Описывая обстоятельства, при которых совершилось падение, он говорит: «Все это я передаю или по смутному воспоминанию, или по рассказам свидетелей; сам утопающий в первую минуту поглощен весь ощущением своей гибели и борением между надеждой и отчаянием. Но что затем последовало, о том могу свидетельствовать с полнейшим сознанием: в духе моем совершился в эту минуту внезапный и столь чрезмерный переворот, что все его обстоятельства остаются доньше так свежи и живы в моей памяти, как бы вчера со мною случились. С того момента, как прекратилось во мне всякое движение (что было, полагаю, последствием совершенного удушения), — тихое ощущение совершенного спокойствия сменило собою все прежние мятежные ощущения; можно, пожалуй, назвать его состоянием апатии; но тут не было тупой покорности пред судьбою, потому что не было тут ни малейшего страдания, не было и ни малейшей мысли ни о гибели, ни о возможности спасения. Напротив того, ощущение было скорее приятное, нечто вроде того тупого, но удовлетворенного состояния, которое бывает перед сном после сильной усталости. Чувства мои таким образом были притуплены, но с духом произошло нечто совсем противоположное. Деятельность духа оживилась в мере, превышающей всякое описание; мысли стали возникать за мыслями с такою быстротою, которую не

только описать, но и постигнуть не может никто, если сам не испытал подобного состояния. Течение этих мыслей я могу и теперь в значительной мере проследить, — начиная с самого события, только что случившегося, — неловкость, бывшая его причиною, смятение, которое от него произошло (я видел, как двое вслед за мною спрыгнули с борта), действие, которое оно должно было произвести на моего нежного отца, объявление ужасной вести всему семейству, — тысяча других обстоятельств, тесно связанных с домашнею моею жизнью: вот из чего состоял первый ряд мыслей. Затем круг этих мыслей стал расширяться дальше: явилось последнее наше плавание, первое плавание со случившимся крушением, школьная моя жизнь, мои успехи, все ошибки, глупости, шалости, все мелкие приключения и затеи того времени. И так дальше и дальше назад, всякий случай прошедшей моей жизни проходил в моем воспоминании в поступательно обратном порядке, и не в общем очертании, как показано здесь, но живую картину во всех мельчайших чертах и подробностях. Словом сказать, — вся история моего бытия проходила передо мной точно в панораме, и каждое в ней со мною событие соединялось с сознанием правды или неправды, или с мыслью о причинах его и последствиях; удивительно, — даже самые мелкие, ничтожные факты, давным-давно позабытые, все почти воскресли в моем воображении, и притом так знакомо и живо, как бы недавно случились. Все это не указывает ли на безграничную силу нашей памяти, не пророчит ли, что мы со всей полнотою этой силы проснемся в ином мире, *принуждены* будем созерцать нашу прошедшую жизнь во всей полноте ее? И с другой стороны, — все это не оправдывает ли веру, что смерть есть только изменение нашего бытия, в коем, стало быть, нет действительного промежутка или перерыва? Как бы то ни было, замечательно в высшей степени одно обстоятельство — что бесчисленные идеи, промелькнувшие в душе у меня, все до одной обращены были в прошедшее. Я был воспитан в правилах веры. Мысли мои о будущей жизни и соединенные с ними надежды и опасения не утратили нисколько первоначальной силы, и в иное время одна вероятность близкой гибели возбудила бы во мне страшное волнение; но в этот неизъяснимый момент, когда во мне было полное убеждение в то, что перейдена уже черта, отделяющая меня от вечности, — ни единая мысль о будущем не заглянула ко мне в душу, я был погружен весь в прошедшее. Сколько времени было у меня занято этим потоком идей, или, лучше сказать, в какую долю времени все они были втиснуты, не могу теперь определить в точности; но без сомнения не про-

шло и двух минут с момента удушения мозга до той минуты, когда меня вытащили из воды.

Когда стала возвращаться жизнь, ощущение было во всех отношениях противоположным прежнему. Одна простая, но смутная мысль — жалостное представление, что я утопал — тяготела над душой вместо множества ясных и определенных идей, которые только что пронеслись через нее. Беспомощная тоска, вроде кошмара, подавляла все мои ощущения, мешая образованию какой-либо определенной мысли, и я с трудом убедился, что жив действительно. Утопая, не чувствовал я ни малейшей физической боли; а теперь мучительная боль терзала весь состав мой: такого страдания я не испытывал впоследствии, несмотря на то, что бывал несколько раз ранен и часто подвергался тяжким хирургическим операциям. Однажды пуля прострелила мне легкие: я пролежал несколько часов ночью, на палубе, и, истекая кровью от других ран, потерял наконец сознание в обмороке. Не сомневаясь, что рана в легкие смертельная, конечно, в минуту обморока я имел полное ощущение смерти. Но в эту минуту не испытал я ничего похожего на то, что совершалось в душе у меня, когда я тонул; а приходя в себя после обморока, я разом пришел в ясное сознание о своем действительном состоянии».

ЦЕРКОВЬ

I

Чем явственнее означаются в уме отличительные племенные черты каждого вероисповедания, тем более убеждаешься в том, какое недостижимое и мечтательное дело — объединение вероисповеданий в одном искусственном, надуманном соглашении о догмате, на начале взаимной уступки в частях несущественных. Существенное в каждом вероисповедании едва ли возможно выразить, выяснить на бумаге или в определенной формуле. Самое существенное, самое упорное и драгоценное в церковном веровании — неуловимо, недоступно определению, подобно разнообразию света и теней, подобно чувству, сложившемуся из бесконечного ряда последовательных ощущений, представлений и впечатлений. Самое существенное — связано и сплетено множеством таких тонких корней с психической природою каждого племени и с общими, сложившимися в нем, началами нравственного мирозерцания, что невозможно отделить одно от другого. Разноплеменные и разноцерковные люди могут, во многих

отношениях, при встрече, во взаимном общении, почувствовать себя братьями и подать друг другу руки; но для того, чтоб они почувствовали себя братьями в одном храме, соединились в религиозном общении духа, — для этого надобно им долго и много прожить вместе, друг друга понять во всей жизненной обстановке и сплестись между собою в самых внутренних корнях глубины душевной. Так иногда немец, долго проживший в России, бессознательно привыкает веровать по-русски и в русской церкви чувствует себя дома. Тогда он *входит* к нам, становится одним из наших, и общение его с нами — полное, духовное. Но чтобы то или другое общество протестантов, вдалеке от нас стоящее, по слуху судящее об нас, могло, по книжному или отвлеченному соглашению о догматах и обрядах, соединиться с нами в одну церковь органическим союзом и стать едино с нами по духу, — этого и представить себе нельзя. До сих пор не удавалась еще ни одна церковная уния, основанная на соглашении: рано или поздно обнаруживалось фальшивое начало такого союза, и плодом его бывало повсюду умножение не любви, а взаимного отчуждения или даже ненависти.

Сохрани Боже порицать друг друга за веру; пусть каждый верует по-своему, как ему сроднее. Но у каждого есть вера, в которой ему приятно, которая ему по душе, которую он любит; и нельзя не чувствовать, когда подходишь к иной вере, неродной, несочувственной, что здесь — не то, что у нас; здесь неприятно и холодно; здесь не хотел бы жить. Пусть разум говорит отвлеченным рассуждением: ведь они тому же Богу молятся. Чувство не всегда может согласиться с этим рассуждением; иногда чувству кажется, что в чужой церкви как будто не тому Богу молятся.

Многие станут смеяться над таким ощущением, пожалуй, назовут его суеверием, фанатизмом. Напрасно. Ощущение не всегда обманчиво; в нем сказывается иногда истина прямее и вернее, нежели в рассуждении.

В протестантском храме, в протестантском веровании холодно и неприятно русскому человеку. Мало того, если ему дорога вера как жизнь, — он чувствует, что назвать этот храм своим — для него все равно что умереть. Вот непосредственное чувство. Но этому чувству много и резонных причин. Вот одна из них, которая особенно поражает своей очевидностью.

В богословской полемике, в спорах между религиями, в союзе каждого человека и каждого племени, один из основных вопросов — вопрос о *делах*. Что главное — *дела* или *вера*? Известно, что на этом вопросе препирается донныне латинское бого-

словие с протестантским. Покойный Хомяков в своих богословских сочинениях прекрасно разъяснил, до какой степени обманчива схоластически абсолютная постановка этого вопроса. Объединение веры с делом, равно как и отождествление слова с мыслью, дела со словом, — есть идеал, недостижимый для человеческой природы, как недостижимо все безусловное... идеал, вечно возбуждающий и вечно обличающий верующую душу. Вера без дел мертва; вера, противная делам, мучит человека сознанием внутренней лжи, но в необъятном мире внешности, объемлющем человека, и пред лицом бесконечной вечности — что значит *дело* или *всяческие дела*, что значат — без веры?

Покажи мне *веру твою от дел твоих* — страшный вопрос! Что на него ответить *уверенному*, когда спрашивает его *испытующий*, ищущий познать истину от дела? Положим, что такой вопрос задает протестант православному человеку. Что ответит ему православный? — придется опустить голову. Чувствуется, что показать нечего, что все не прибрано, все не начато, все покрыто обломками. Но через минуту можно поднять голову и сказать: грешные мы люди и показывать нам нечего, да ведь и ты не праведный. Но приди к нам сам, поживи с нами, и увидишь нашу веру, и почувешь наше чувство, и, может быть, с нами слюбисься. А дела наши, какие есть, сам увидишь. После такого ответа девяносто девять изо ста отойдут от нас с презрительною усмешкой. В сущности, все дело только в том, что мы показывать дела свои против веры не умеем, да и не решаемся.

А они показывают. И умеют показать, и правду сказать, есть им что показать, в совершенном порядке — веками созданные, сохраненные и упроченные дела и учреждения. Смотрите, — говорит католическая церковь, — что я значила и что значу в жизни того общества, которое меня слушает и мне служит, что я создала и что мною держится. Вот дела любви, вот дела веры, вот дела апостольства, вот подвиги мученичества, вот полки верные, как один человек, которые я рассылаю на концы вселенной. Не явно ли, что со мною и в нас благодать пребывает от века и донныне?

Смотрите, — говорит протестантская церковь, — я не терплю лжи, обмана и суеверия. Я привожу дела в соответствие и разум в соглашение с верой. Я освятила верою труд, житейские отношения, семейный быт, верою искореняю праздность и суеверие, водворяю честность, правосудие и общественный порядок. Я учу ежедневно, и учение мое, близкое к жизни, воспитывает целые поколения в привычке к честному труду и в добрых нравах. Человечество призвано обновиться учением моим — в добродете-

тели и в правде. Я призвана искоренить мечом слова и дела разврат и лицемерие повсюду. Не явно ли, что сила Божия со мною, потому что во мне *истинное воззрение на религию?*

Протестанты доньше спорят с католиками о догматическом значении *дела* по отношению к вере. Но при совершенной противоположности богословского воззрения на этот предмет, и те, и другие ставят *дело* во главу своей религии. Только у латинян дело служит в оправдание, в искупление, во свидетельство о благодати. Лютеране с другой стороны смотрят на дело, и в связи с делом на самую религию, с практической точки зрения. Дело как будто обращается у них в *цель*, для которой существует религия, становится оселком, на котором испытывается *правда* религиозная и церковная, и вот пункт, на котором более, чем на всяком другом, наша религиозная мысль расходится с религиозною мыслью протестантизма. Без сомнения, высказанное сейчас воззрение не составляет догматического положения в лютеранской церкви, но им проникнуто все ее учение. Бесспорно, в нем есть весьма важная *практическая* сторона для *здешней* жизни, для *мира сего*; и оттого многие, даже у нас, готовы иногда ставить нашей церкви в образец и в идеал церковь протестантскую. Но русский человек, в глубине верующей души, не примет никогда такого воззрения. Благочестие на все полезно — *и по апостольскому слову*; но это лишь одна из *естественных* принадлежностей благочестия. Русский человек не менее другого знает, что жить должно *по вере*, и чувствует, как мало сходна с верою жизнь его; но существо и цель веры своей полагает он не в практической жизни, а в душевном спасении, и любовь церковного союза ищет обнять всех — от живущего по вере праведника до того разбойника, который, несмотря на дела, прощен был в одну минуту.

Это *практическое основание* протестантизма нигде не выражается так явственно, как в церкви англиканской и в духе религиозного воззрения английской нации. Оно и согласуется с характером нации, выработавшимся в ее истории — направлять мысль и деятельность повсюду к практическим целям, стойко и неуклонно добиваться успеха и во всем избирать те пути и способы, которые ближе и вернее ведут к успеху. Это природное стремление необходимо должно было искать себе нравственной основы, выработать для себя нравственную теорию; и немудрено, что нравственные начала нашли для себя санкцию в соответствующем известному характеру религиозном воззрении. Религия бесспорно освящает нравственное начало деятельности, учит, как жить и действовать на земле, требует трудолюбия, честности,

правды. Нельзя не согласиться с этим положением. Но от этого положения практический взгляд на религию прямо переходит к вопросу: что же за религия у того, кто живет в праздности, нечестен и лжив, развратен, беспорядочен, не умеет поддерживать себя? Такой человек язычник, а не христианин; лишь тот христианин, кто живет по закону и являет в себе силу закона христианского.

Рассуждение, по-видимому, логически правильное. Но у кого не шевелится в душе вопрос: как же быть на свете и в церкви мытарям и блудницам, тем, которые, по слову христову, предвзряют нередко церковных праведников в Царствии Божиим?

Разумеется, странно было бы предполагать, что такой взгляд на религию составляет положительную формулу церковного верования в Англии. Такая *формула* была бы явным отрицанием евангельского учения. Но таков именно дух религиозного воззрения у самых добросовестных и ревностных представителей так называемого «национального церковного учреждения», отстаивающих и восхваляющих англиканскую церковь, как первую твердыню государства — *bulwark of State* — и как основное выражение духа национального. В английской литературе, как в духовной, так и светской, это воззрение выражается иногда в весьма резких формах, в таких словах, пред которыми останавливается с недоумением, похожим на ужас, мысль русского читателя.

Есть сочинение, замечательное по глубине и основательности мысли, написанное человеком, очевидно, верующим глубоко и ревностно преданным своей церкви. Вот, что здесь сказано, между прочим, о религии.

«Некоторые религии, очевидно, не благоприятны чувству общественного долга. Иные не имеют никакого к нему отношения, а из тех религий, которые ему благоприятствуют (таковы в большей или меньшей мере все формы христианской веры), одни действуют на него с особенною, другие с меньшею силой. Можно сказать, что всего существеннее действуют в этом смысле те религии, в коих господствует над всем образ бесконечно мудрого и могущественного законодателя. Его личное бытие неисследимо для человеческого разума; но он сотворил мир таким, *каков есть мир*, сотворил его *для рода людей благоразумных, твердых и смелых духом* и устойчивых; *для тех*, которые сами небезумны, знают твердо, что им нужно, и с решимостью употребляют *все законные средства, чтобы того достигнуть*. Такая-то религия составляет безмолвное, но глубоко укоренившееся убеждение английской нации, в лучших, солиднейших ее представителях.

Они представляют наковальню, о которую избилося уже множество молотов, и избьется еще того больше, не взирая ни на каких энтузиастов и гуманитарных мечтателей» (Stephen. Liberty, equality, fraternity)⁴⁹. Вот до какого понятия о религии может дойти мысль уверенного англиканца-протестанта. Выписанные слова, в сущности, содержат в себе прямое извращение евангельского слова; они как будто говорят: *блаженны крепкие и сильные* в деле: им принадлежит царство. Да, скажем мы: — царство земное, но не царство небесное. Автор не делает этой оговорки, он не различает земного от небесного. Какая страшная, какая отчаянная доктрина!

Такое настроение *религиозной* мысли, бесспорно, имело в протестантских странах, и особенно в Англии, величайшее практическое значение, и в этом смысле нельзя не согласиться, что протестантство было сильным и благодетельным двигателем общественного развития у тех племен, коих натуре оно соответствовало, и которые его приняли. Но не очевидно ли, вместе с тем, что некоторые племена, по своей натуре, никак *не могут* принять его и ему подчиниться, потому что именно в этом воззрении протестантства не чувствуют жизненного религиозного начала, видят не единство, а разделение религиозного сознания, не живую истину, а *конструкцию* мысли и оболъщения.

«Горе слабым и падающим! Горе побежденным!» Конечно, в здешней жизни это непреложная истина, и правило житейской мудрости говорит каждому: борись, входи в силу и держи в себе силу, если хочешь жить; слабому нет места на свете. Но придавать этому правилу безусловную, как бы догматическую силу в религиозном смысле, — вот чего наша душа не принимает, как не принимает она сродного протестантству ужасного кальвинского учения о том, что иные от века призваны к добродетели, к славе, к спасению и блаженству, а другие от века осуждены, и что бы ни делали в жизни, все влечет их в бездну отчаяния и вечных мучений.

Страшно читать иных английских писателей, у которых с особенною силой звучит эта струна англиканского протестантизма. У Карлейля, например, доходит до восторженного пафоса поклонение силе и таланту победителя и презрение к побежденным. Созерцая своих героев, сильных людей, он чувствует в них воплощение *божественного*, и с тонким презрительным юмором говорит о тех слабых и несчастных, неловких и падших, которых раздавила победная колесница. Его герой воплощает в себе идею света и порядка, в мраке и неустройстве космического хаоса; его герой *строит* свою вселенную, и все, что встречается ему

на дороге и не умеет ему покориться и служить ему, и не имеет своей силы, чтобы побороть его, погибает достойно и праведно. Громадный талант Карлейля обворожает читателя, но тяжело читать его исторические поэмы и видеть, как часто имя Божие применяется им всуе в борьбе сильного со слабым. У язычников классического периода — и у тех возле победной колесницы шел иногда шут, который, служа представителем нравственного начала, должен был преследовать своими шутками не побежденных, а самого победителя.

Всего тяжелее читать Фруда, знаменитого историка английской реформации и самого видного между историками представителя английских национальных начал в церкви и в политике. Карлейль, по крайней мере, поэт; но Фруд говорит спокойным тоном историка, любит диалектику — и нет беззакония, которого не оправдал бы он своею диалектикой в пользу любимой идеи; нет лицемерия, которого не построил бы он в правду, доказывая правду реформы и главных ее деятелей. Он стоит непоколебимо, фанатически, на основах англиканского правоверия, и главною основою его полагает — сознание долга общественного, преданность государственной идее и закону, — и неумолимое преследование порока, преступления, праздности и всего, что называется изменою долгу. Все это прекрасно в деле человеческом; но какво ставить такое правило в основание и цель религиозного воззрения, если подумаешь, что каждому из этих священных слов — и долгу, и закону, и пороку, и преступлению каждая партия в каждую минуту придает особенное значение, и что между людьми сегодня называют правдою и доблестью, за то завтра казнят, как за ложь и преступление. Для милости, для сострадания не остается места в веровании Фруда: как можно согласить милость с негодованием на то, что считается пороком, преступлением, нарушением закона? Упомяная о страшных казнях, которым подвергались в ту пору так часто и невинные, наравне с виноватыми, строгий судья человеческих дел так говорит о своем народе: «англичане — строгий и суровый народ, — они не знают сострадания там, где нет законной причины допустить сострадание; напротив того, они исполнены священного и торжественного ужаса к злодеянию — чувства, которое, по мере своего развития в душе, необходимо закаливает ее и образует железный характер. Строгого нрава человек склонен к нежности тогда лишь, когда остается еще место добру посреди зла, и добро еще борется со злом; но в виду совершенного развращения и зла никакое сострадание немислимо; оно возможно разве только тогда, когда мы в своем сердце смешиваем *преступление с несчастием*».

Какое презрение должен чувствовать автор к русскому человеку, у которого подлинно есть в душе такое смешение, и который искони называет *преступника несчастным*.

Как личный характер, как характер племени, так и характер каждой церкви, в связи с усвоившим ее племенем, имеет и свои достоинства, и свои недостатки. Достоинства протестантизма достаточно выяснились в истории германского и англо-саксонского племени. Пуританский дух создал нынешнюю Британию. Протестантское начало привело Германию к силе, к дисциплине и к единству. Но на оборотной стороне его есть такие недостатки, такие стремления религиозного самосознания, которые не могут быть нам сочувственны. Протестантство — как всякая духовная сила — склонно к падению именно в том, в чем полагает свои коренные духовные основы. Стремясь к абсолютной правде, к очищению верования, к осуществлению верования в жизни, — оно слишком склонно уверовать в собственную правду и увлечься до гордого поклонения своей правде и до презрения к чужому верованию, которое *отождествляет с неправдою*. Отсюда, с одной стороны, опасность впасть в лицемерие и фарисейскую гордость. И подлинно, немало слышится из протестантского мира голосов, которые с горечью сознают, что лицемерие составляет язву строгого лютеранства. С другой стороны, начав с проповеди о терпимости, о свободе мысли и верования, протестантство в дальнейшем развитии своем выказало склонность к фанатизму особого рода, — к фанатизму гордого разума и самоуверенной праведности перед всеми прочими видами верования. Строгий протестантизм с презрением относится ко всякому верованию, которое представляется ему неочищенным, недохотворенным, исполненным суеверий и внешних обрядностей, ко всему, что он сам отбросил, как рабские узы, как детскую одежду, как принадлежность невежества. Создав для себя сам кодекс верований и обрядов, он считает свое исповедание исповеданием *избранных, просвещенных и разумных* и всех, держащихся старой церкви, склонен считать людьми низшего рода, не умеющими возвыситься до истинного разумения. Это презрительное отношение к прочим верованиям, может быть, несознательно выражается в протестантстве, но оно слишком ощутительно для иноверцев. Никакая религия не свободна от большей или меньшей склонности к фанатизму; но смешно слышать, когда с обвинением в фанатизме обращаются к нам *лютеране*. У нас, при терпимости ко всякому верованию, свойственной национальному характеру нашему, встречаются, конечно, отдельные случаи исключительности и узости церковных воззрений, но никогда

не бывало и не может быть ничего подобного тому презрению, с которым строгий лютеранин смотрит на непонятные для него, но для нас исполненные глубокого духовного значения принадлежности нашей церкви и свойства нашего верования.

II

Ни в чем так явственно, как в церкви, не ощущается различие между общественным духом и складом англо-саксонского и, например, русского племени. В английской церкви сильнее, чем где-либо, является у русского человека такая мысль: много здесь хорошего, но все-таки — как я рад, что родился и живу в России. У нас в церкви можно забыть обо всех сословных и общественных различиях, отрешиться от мирского положения, слиться совершенно с народным собранием, перед лицом Бога. Наша церковь большею частью и создана на всенародные деньги, так что рубль от гроша различить невозможно; во всяком случае, церковь наша есть всенародное дело и всенародное достояние. Оттого она всем нам вдвое дороже, что входя в нее, последний нищий чувствует совершенно так же, как и первый вельможа, что это *его* церковь. Церковь — единственное место (какое счастье, что у нас есть такое место!), где последнего бедняка в рубище никто не спросит: зачем ты пришел сюда и кто ты такой? где богатый не может сказать бедному: твое место не возле меня, а сзади.

Здесь — войдите в церковь, посмотрите на церковное собрание. Оно благоговейно, оно, может быть, торжественно, но это собрание лэди и джентльменов, из которых каждое лицо имеет свое место, ему особливо присвоенное; а богатые люди и знатные в своем околотке — имеют места отделенные и украшенные, точно ложи. Можно ли, со стороны глядя, удержаться от мысли, что церковное собрание здесь лишь видоизменение общественного собрания и что в нем есть место только так называемым в обществе «порядочным людям»? Все молятся по своим книжкам, но как у каждого в руках своя книжка, так видно, что каждый желает быть и перед Богом — сам по себе, не теряя своей индивидуальности. Говорят, что в последние 20–30 лет совершилась еще в этом отношении заметная перемена: места в церквях большею частью открытые, т. е. не отгороженные наглухо, и доступ к ним стал свободнее, чем прежде; а в прежнее время, особливо в провинции, и места в церквях устраивались закрытыми или отдельными стойками так, чтобы владелец каждого места мог

молиться *спокойно*, уединенно, не смущаясь никаким соседством. Как ясно отражается в этом расположении церковном история здешнего феодального общества, и самая история здешней церковной реформы! Nobility и gentry составляют все и все ведут за собой, потому что всем обладают и все к себе притягивают. Все должно быть куплено или взято с бою, даже право иметь место в церкви. Самое *священнослужение* — есть право известного рода, полагаемое в цену. Места пасторские, с правом на известный доход или окладное содержание, составляют в Англии принадлежность вотчинного права, *патронатства*, и выбор на место составляет достояние — или частных землевладельцев, или короны, в силу чего не столько государственного, сколько феодального владельческого права. Оттого и пастор, посреди народа, независимо от народа назначенный и не зависящий от народа в своем содержании, является среди народа тоже в виде князя, свыше поставленного. Церковная должность прежде всего представляется привилегией (*preferment*) и достоянием; и стыдно сказать: это достояние служит предметом торга. Места главных священников (*incumbents*) могут быть сдаваемы за известную цену, сложенную из капитализации дохода, так же, как сдаются места стряпчих, нотариусов, маклеров и т. п. В любой английской газете, в особом отделе объявлений о так называемых *preferments*, вы встретите ряд предложений купить место священника с описанием доходных статей: расхваливается место с его удобствами для жизни, описывается дом, местоположение, означается доход и предлагается цена с предупреждением, что нынешний *incumbent* стар, таких-то лет и, вероятно, недолго будет пользоваться своим положением. Для переговоров указано обращаться туда-то. В Лондоне издается даже особенный журнал («*The Church preferment registrar*») с подробным описанием всех статей, угодий и доходов каждого места, для сведения и расчета желающих получить его за известную сумму.

Говорят, что в политическом смысле благодетельно, когда всякое право, личное или общественное, достается не иначе, как с бою. Может быть, всякое иное, только никак не право на молитву общественную в церкви. Не мудрено, что совесть общественная не может удовлетвориться таким церковным устройством и что Англия — страна установленной государственной церкви, классическая страна ученого богословия и прений о вере, — стала со времени реформы страной диссентеров⁵⁰ всякого рода. Религиозная и молитвенная потребность в массе народной, не находя себе места и удовлетворения в установленной церкви, стала искать исхода в вольных самоуправных церков-

ных собраниях и в разнообразных сектах. Деление церковного обряда здесь непомерное между жителями самого незначительного местечка. Самая установленная церковь делится на три партии, и сторонники каждой из них (так называемых Высокой, Низкой и Широкой церкви)⁵¹ имеют обыкновенно свою церковь и не ходят в чужую. В небольшой деревне, где не более 500 человек постоянного населения, существуют нередко три церкви англиканские и, кроме того, три церкви методистов⁵² трех разных толков, которые, различаясь в очень тонких и капризных подробностях, отрешаются от общения между собою. Особливая церковь — для первоначальных или Веслеевых методистов⁵³, потом для конгрегационистов⁵⁴, потом для так называемых библейских христиан⁵⁵: последние — те же методисты, но отделились несколько лет тому назад только из-за того, что полагают, в несогласии с прочими, невозможным иметь женатых в звании церковных *евангелистов*. Вот сколько церквей в одной деревне! Все эти секты и собрания отличаются особенностями вероучений, иногда очень тонкими и капризными, или совсем дикими; но помимо догматических разностей, во всех выражается одно и то же стремление к вольной всенародной церкви, и многие из них проникнуты ожесточенною ненавистью к установленной церкви и к ее служителям. Кроме отдельных сект посреди самой установленной церкви образовалась издавна многочисленная партия во имя вольного церковного общения — *free church movement*. Частные люди и отдельные общества употребляют свои средства для доставления простому народу возможности участвовать в богослужении: для этого приходится строить отдельные церкви или нанимать отдельные помещения, театры, сараи, залы и т. п. Все это движение произвело уже ощутительную реакцию в обычаях самой установленной церкви, побудив ее шире раскрыть свои двери. Но не странно ли, что здесь приходится брать с бою то, что у нас от начала вольно как воздух, которым мы дышим?

Как часто случается у нас в России слышать странные речи об нашей церкви от людей, бывавших за границей, читавших иностранные книги, любящих судить красно с чужого голоса, или просто от людей наивных, которые увлекаются идеальным представлением мимо действительности. Эти люди не находят меры похвалам англиканской или германской церкви и англиканскому духовенству, не находят меры осуждению нашей церкви и нашему духовенству. Если верить им — там все живая деятельность, а у нас мертвечина, грубость и сон. Там дела, а у нас голая обрядность и бездействие. Немудрено, что многие говорят

так. Между людьми ведется, что по платью встречают человека. Говорят: по уму провожают; но, чтоб узнать ум и почувствовать дух, надо много присмотреться и поработать мыслью, а по платью судить нетрудно. Составишь себе готовое впечатление и так потом при нем и останешься. Притом есть много людей, для которых первое дело, первый и окончательный решитель впечатлений — внешнее благоустройство, манера, ловкость, чистота, респектабельность. В этом отношении, конечно, есть на что полюбоваться, хотя бы в английской церкви, есть о чем иногда печалиться в нашей. Кому не случалось встречать светское, а иной раз, к сожалению, и духовное лицо, из бывших за границею, с жаром выхваляющее здешнюю простоту церковную и осуждающее нашу родную «за незрелость». Грустно бывает слушать такие речи, как грустно видеть сына, когда он, прожив в фешенебельном кругу, посреди всех тонкостей столичной жизни, возвращается в деревню, где провел когда-то детство свое, и смотрит с презрением на неприхотливую обстановку и на простые, пожалуй, грубые обычаи родной семьи своей.

Мы удивительно склонны, по натуре своей, увлекаться прежде всего красивою формой, организацией, внешнею конструкцией всякого дела. Отсюда — наша страсть к подражаниям, к перенесению на свою почву тех учреждений и форм, которые поражают нас за границей внешнею стройностью. Но мы забываем при этом или вспоминаем слишком поздно, что всякая форма, исторически образовавшаяся, выросла в истории из исторических условий и есть логический вывод из прошедшего, вызванный *необходимостью*. Истории своей никому нельзя ни переменить, ни обойти; и сама история, со всеми ее явлениями, деятелями, сложившимися формами общественного быта, есть произведение *духа* народного, подобно тому, как история отдельного человека есть, в сущности, произведение живущего в нем духа. То же самое сказать должно о формах церковного устройства. У всякой формы есть своя духовная подкладка, на которой она выросла; часто прельщаемся мы формою, не видя этой подкладки, но если бы мы ее видели, то иной раз не задумались бы отвергнуть готовую форму при всей ее стройности, и с радостью остались бы при своей старой и грубой форме или бесформенности; пока своя у нас духовная жизнь не выведет свою для нас форму. Дух, вот что существенно во всяком учреждении, вот что следует охранять дороже всего от кривизны и смешения.

Наша церковь искони имела и донныне сохраняет значение всенародной церкви и дух любви и безразличного общения. Верую народ наш держится донныне посреди всех невзгод и бедст-

вий, и если что может поддержать его, укрепить и обновить в дальнейшей истории, так это вера, и одна только вера церковная. Нам говорят, что народ наш невежда в вере своей, исполнен суеверий, страдает от дурных и порочных привычек; что наше духовенство грубо, невежественно, бездейственно, принижено и мало имеет влияния на народ. Все это во многом справедливо, но все это — явления *не существенные*, а случайные и временные. Они зависят от многих условий, — и прежде всего от условий экономических и политических, с изменением коих и явления эти рано или поздно изменятся. Что же существенно? Что же принадлежит духу? Любовь народа к церкви, свободное сознание полного общения в церкви, понятие о церкви как общем достоянии и общем собрании, полнейшее устранение сословного различия в церкви и общение народа с служителями церкви, которые из народа вышли и от него не отделяются ни в житейском быту, ни в добродетелях, *ни в самых недостатках*, с народом и стоят и падают. Это такое поле, на котором можно возрастить много добрых плодов, если работать вглубь, заботясь не столько о том, чтобы число церквей *не превышало потребности*, сколько о том, чтобы *потребность в церкви не оставалась без удовлетворения*. Нам ли зариться с завистью, издалека и по слуху, хоть бы на протестантскую церковь и ее пастырей? Избави нас Боже дожидаться той поры, когда наши пастыри утвердятся в положении чиновников, поставленных над народом, и станут *князьями* посреди людей своих, в обстановке светского человека, в усложнении потребностей и желаний посреди народной скудости и простоты.

Вдумываясь в жизнь, приходишь к тому заключению, что для каждого человека в ходе его духовного развития всего дороже, всего необходимее, — сохранить в себе неприкосновенным простое, природное чувство человеческого отношения к людям, правду и свободу духовного представления и движения. Это — неприкосновенный капитал духовной природы, которым душа охраняется и обеспечивается от действия всяких *чиновных* форм и искусственных теорий, растлевающих незаметно простое нравственное чувство. Как ни драгоценны, во многих отношениях, эти формы и теории, они могут, привившись к душе, совсем извратить и погубить в ней простые и здравые представления и ощущения, спутать понятие о правде и неправде, подточить самый корень, на котором вырастает здоровый человек в духовном отношении к миру и к людям. Вот что существенно, и вот, что мы так часто убиваем в себе из-за форм, совсем не существенных, которыми обольщаемся. Сколько из-за этого пропадает

у нас и людей, и учреждений, фальшиво извращенных фальшивым развитием, — а между тем в церковном учреждении всего для нас дороже этот корень. Боже избави, чтоб и он когда-нибудь не был у нас подточен криво поставленною церковною реформой.

III

Протестанты ставят нам в упрек формальность и обрядность нашего богослужения; но когда посмотришь на их обряд, то невольно отдаешь и в этом отношении предпочтение нашему обряду; чувствуешь, как наш обряд прост и величествен в своем глубоком таинственном значении. Священнослужитель поставлен в нашем обряде так просто, что от него требуется только благоговейное внимание к произносимым словам и совершаемым действиям; в устах его и чрез него священные слова и обряды сами за себя говорят — и как глубоко и таинственно говорят душе каждого и соединяют все собрание в одну мысль и в одно чувство! Оттого самый простой и неискусный человек может, не подстраивая себя, не употребляя искусственных усилий, совершать молитвенное действие и вступать в молитвенное общение со всей церковью. Протестантский молитвенный обряд, при всей наружной простоте своей, требует от священнослужителя молитвенного действия в известном тоне. Оттого в этом обряде только глубоко духовные или очень талантливые люди могут быть просты; остальные же, — т. е. огромное большинство, принуждены подстраивать себя и прибегать к аффектации, которая именно в протестантских храмах чаще всего встречается и производит на непривычного человека тягостное впечатление. Когда видишь проповедника, как он, стоя посреди храма, лицом к размещенному чинно на скамьях собранию, произносит молитвы, воздев глаза к небу, сложив руки в известный, всеми употребляемый вид, и придает своей речи неестественную интонацию, становится неловко за него; думается, как должно быть ему неловко! Еще ощутительнее становится неловкость, когда, окончив обряд, он всходит на кафедру и начинает свою длинную проповедь, оборачиваясь от времени до времени назад, чтобы выпить из стакана воды и собраться с духом. И в этой проповеди редко случается слышать действительно живое слово, — когда проповедник действительно духовный человек или талант. Говорят большею частью *работники* церковного дела, чрезвычайно натянутым голосом, с крайнею аффектацией, с сильными жеста-

ми, поворачиваясь из стороны в сторону, повторяя на разные лады общие, всеми употребляемые фразы. Даже когда читают по книге, что нередко случается, они прибегают к известным телодвижениям, интонациям и расстановкам. Нередко случается, что проповедник, произнося некоторые слова и фразы, кричит и ударяет кулаком по кафедре, чтобы придать выразительность своей речи... Здесь чувствуешь, как верно применилась наша церковь к природе человеческой, не поместив проповеди в состав богослужебного обряда. Весь наш обряд сам по себе составляет лучшую проповедь, тем более действительную, что всякий принимает ее не как человеческое, а как Божие слово. И церковный идеал нашей проповеди как живого слова есть *учение* веры и любви, от божественных писаний, а не возбуждение чувства, как необходимое действие каждого священнослужителя на собравшихся в церковь для молитвы.

IV

Говорят, что обряд — неважное и второстепенное дело. Но есть обряды и обычаи, от которых отказаться — значило бы отречься от самого себя, потому что в них отражается жизнь духовная человека или всего народа, в них сказывается целая душа. В разности обряда выражается всего явственнее коренная и глубокая разность духовного представления, таящаяся в бессознательных сферах духовной жизни, — та самая разность, которая препятствует слиянию или полноте взаимного сочувствия между разноплеменными народами и составляет основную причину разности церквей и вероисповеданий. Отрицать, с отвлеченной, космополитической точки зрения действие этой притягательной или отталкивающей силы, приравнивая ее к предрассудку, — значило бы то же, что отрицать силу сродства (*wahlverwandschaft*), действующую в личных между людьми отношениях.

Как знаменательна, например, у разных народов разница в погребальном обряде и в обращении с телом покойника! Южный человек, итальянец, бежит от своего мертвеца, спешит как можно скорее очистить от него дом свой и предоставляет посторонним заботу о его погребении. Напротив того, у нас, в России, характерная народная черта — религиозное отношение к мертвому телу, исполненное любви, нежности и благоговения. Из глубины веков отзывается до нашего времени исполненный поэтических образов и движений плач над покойником, превращаясь, с принятием новых религиозных обрядов, в торжественную

церковную молитву. Нигде в мире, кроме нашей страны, погребальный обычай и обряд не выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, до которой он достигает у нас; и нет сомнения, что в этом его складе отразился наш народный характер, с особенным, присущим нашей натуре, мировоззрением. Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы одеваем их благолепным покровом, мы окружаем их торжественною тишиною молитвенного созерцания, мы поем над ними песнь, в которой ужас пораженной природы сливается воедино с любовью, надеждою и благоговейною верой. Мы не бежим от своего покойника, мы украшаем его в гробе, и нас тянет к этому гробу — взглянуться в черты духа, оставившего свое жилище; мы поклоняемся телу и не отказываемся давать ему последнее целование, и стоим над ним три дня и три ночи с чтением, с пением, с церковною молитвой. Погребальные молитвы наши исполнены красоты и величия; они продолжительны и не спешат отдать земле тело, тронутое тлением, — и когда слышишь их, кажется, не только произносится над гробом последнее благословение, но совершается вокруг него великое церковное торжество в самую торжественную минуту бытия человеческого! Как понятна и как любезна эта торжественность для русской души! Но иностранец редко понимает ее, потому что она — совсем ему чужая. У нас чувство любви, пораженное смертью, расширяется в погребальном обряде; у него — оно болезненно сжимается от того же обряда и поражается одним ужасом.

Немец-лютеранин, живший в Берлине, потерял в России горячо любимую сестру православную. Когда он приехал к нам накануне погребения и увидел любимую сестру, лежащую в гробе, ужас поразил его, сердце его сжалось, и видно было, что чувство любви и благоговения уступило в нем место отвращению, с которым он присутствовал при прощании с мертвым телом и должен был сам принять в нем участие... В этом, как и во многом другом, немец не может понять нас, покуда не поживет с нами и не войдет в глубину духовной нашей жизни. От этой же, кажется, причины ничто столько не возмущает лютеранина в нашей церкви, как поклонение св. мощам⁵⁶, которое для нас самих, по природе нашей, кажется так просто и естественно, — когда мы и своим покойникам кланяемся и их тело обнимаем и чувствуем в погребении. Он, не живя нашею жизнью, не видит в этом чествовании ничего, кроме дикого суеверия, а для нас — это движение и дело любви, самое природное и простое.

Трудно ему понять нас, так же, как нам дико и противно слышать о возникшей недавно в германском и английском об-

ществе агитации, требующей введения нового погребального обряда. Они хотят, чтобы мертвые не предавались земле, а сжигались в особо устроенных печах, — и требуют этого с утилитарной и гигиенической точки зрения. Пропаганда эта усиливается, собираются митинги, составляются общества, устраиваются на счет частных лиц усовершенствованные печи, производятся химические опыты, сочиняются траурные марши, которыми должно сопровождаться сожигание... Голоса растут, крики усиливаются, во имя науки, во имя просвещения, во имя блага общественного. Из какого дальнего мира, из какого быта доносятся до нас эти звуки, — и какой этот мир чужой для нас, какой неприятный и холодный! Нет, не дай Бог умереть в том краю, на чужбине, вдали от матери сырой земли русской!

V

Кто русский человек — душой и обычаем, тот понимает, что значит храм Божий, что значит церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уважать потребность религиозного чувства; — мало для того, чтобы уразуметь смысл церкви для русского человека и полюбить эту церковь как свою, родную. Надо жить народной жизнью, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением. Оттого многие, знающие церковь только по домашним храмам, где собирается избранная и наряженная публика, не имеют истинного понимания своей церкви и настоящего вкуса церковного, и смотрят иногда равнодушно или превратно в церковном обычае и служении на то, что для народа особенно дорого и что в его понятии составляет красоту церковную.

Православная церковь красна народом. Как войдешь в нее, так почувствуешь, что в ней все едино, все народом осмыслено и народом держится. Войдите в католический храм, как в нем все кажется пусто, холодно, искусственно православному собранию. Священник служит и читает сам по себе, как бы поверх народа и отлученный от народа. Он сам по себе молится по своей книжке; народ молится по своим, приходит и уходит, совершив свои моления и дождавшись того или другого церковного действия. На алтаре совершается священнодействие; народ присутствует лишь при нем, но как будто не содействует ему общею молитвой. Обряд не говорит нашему чувству, и мы чувствуем, что красота,

какая может быть в нем, не наша красота, а чужая. Все движения обряда, механически расположенные, кажутся нам странными, холодными, невыразительными; очертания, образы одежды — неблагообразными; звуки церковного речитатива — нестройными и бездушными; пение на чужом языке, в котором не распознаешь слов, — не гимном народного собрания, не воплем, льющим из души, — но концертом, искусственно устроенным, который покрывает собою богослужение, но не сливается с ним. Душа наша тоскует здесь по своей церкви, как тоскует между чужими по родине. То ли дело у нас: вот красота неопи- санная, красота, понятная русскому человеку, красота, за кото- рую он душу готов положить, так он ее любит. Русское церков- ное пение — как народная песнь, льется широкою, вольною струею из народной груди, и чем оно вольнее, тем полнее гово- рит сердцу. Напевы у нас одинаковые с греками, но русский народ иначе поет их, потому что положил в них свою русскую душу. Кто хочет послушать, как эта душа сказывается, тому надобно идти не туда, где орудуют голосами знаменитые хоры и капеллы, где исполняется музыка новых композиторов и справ- ляется обиход по новым официальным переложениям. Ему надо слушать пение в благоустроенном монастыре или в одной из тех приходских церквей, где сложилось добрым порядком хоровое пение; там услышит он, каким широким, вольным потоком вы- ливается праздничный ирмос⁵⁷ из русской груди, какую торже- ственную поэмой выпевается догматик⁵⁸, слагается стихира⁵⁹ с канонархом⁶⁰, каким одушевлением радости проникнут канон Пасхи или Рождества Христова. Тут оглянемся и увидим, как отзывается каждое слово песни в народном собрании, как блес- тит оно в поднятых взорах, носится над склоненными головами, отражается в припевах, несущихся отовсюду, потому что всяко- му церковному человеку знакомы с детства и слова, и напевы, и во всяком душа поет, когда он их слышит. Богослужение строй- ное, *истовое* — действительно праздник русскому человеку, и вне церкви душа хранит глубокое ощущение, которое отражает- ся в ней, даже при воспоминании о том или другом моменте: русская душа, привыкшая к церкви и во всякую минуту готовая воспрянуть, когда внутри ее послышится песнь пасхального или рождественского канона, с мыслью о светлой заутрене или лю- бимый напев праздничного ирмоса, или «Всемирная слава» с ее потрясающим «Держайте»... Подлинно, это те звуки, о которых сказал поэт, что им

...без волнения

Внимать невозможно...

Не встретит ответа

Средь шума мирского
 Из пламя и света
 Рожденное слово,
 Но в храме, средь боя,
 И где я ни буду,
 Услышав его, я
 Узнаю повсюду...

А у того, кто с детства привык к этим словам и звукам, сколько от них поднимается всякий раз воспоминаний и образов из той великой поэмы прошлого, которую каждый прожил и каждый носит в себе... Счастлив, кто привык с детства к этим словам, звукам и образам, кто в них нашел красоту и стремится к ней и жить без нее не может, кому все в них понятно, все родное, все возвышает душу из пыли и грязи житейской, кто в них находит и собирает растерянную по углам жизнь свою, разбросанное по дорогам свое счастье. Счастлив, кого с детства добрые и благочестивые родители приучили к храму Божию и ставили в нем посреди народа молиться всенародною молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему сокровище на целую жизнь, они ввели его подлинно в разум духа народного и в любовь сердца народного, сделав и для него церковь родным домом и местом полного, чистого и истинного соединения с народом.

Что же сказать о множестве затерянных в глубине лесов и в широте полей наших храмов, где народ тупо стоит в церкви, ничего не понимая, под козлогласованием дьячка или бормотанием клирика?

Увы! не церковь повинна в этой тупости и не бедный народ повинен: — повинен ленивый и немыслящий служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распределяющая служителей церкви; повинна, по местам, скудость и беспомощность народные. Благо тому человеку, в ком зажжется на ту пору искра любви и ревность о жизни духовной и кто успеет вывести заброшенную церковь в свет благолепия и пения. Подлинно, он осияет светом страну и сень смертную, он воскресит умерших и поверженных, спасет души от смерти и покроет множество грехов... Оттого-то русский человек так охотно и так много жертвует на церковное строение, на созидание и украшение храмов. Как криво судят те, кто осуждает его за это рвение, таких голосов слышится уже ныне немало. Это щедрое рвение приписывают то к грубости и невежеству, то к ханжеству и лицемерию. Говорят: не лучше ли было бы употребить эти деньги на «образование народное», на школы, на благотворительные учреждения? И на то, и на другое жертвуется своим

чередом, но то жертва совсем иная, и благочестивый русский человек со здравым русским смыслом не один раз призадумается, прежде чем развяжет кошелек свой на щедрую дачу для формально образовательных и благотворительных учреждений.

То ли дело Церковь Божия! Она сама за себя говорит; она — живое, всенародное учреждение. В ней одной и живому, и умершему отраднo. В ней одной всем легко, свободно, в ней душа всяческая, от мала до велика, веселится и радуется, и празднует от тяжелой страды; в ней и белому, и серому человеку, и богатому, и бедному одно место. Разукрашена она паче царской палаты — дом Божий, а всякий из малых и бедных стоит в ней как *в своем* дому; каждый может назвать церковь своею, потому что церковь на народные рубли и, больше того, на народные гроши строена и народом держится. Всем в ней уют и молитва с утешением, и то учение, которое дороже всего русскому человеку. Вот что бессознательно и сознательно сразу сказывается в русской душе о церкви и заставляет русского человека жертвовать на церковь без оглядки и без рассуждения. Русский человек чувствует, что в этом деле не ошибается и дает верно и свято на верное и святое дело.

ХАРАКТЕРЫ

I

Товарищ мой, Никандр, был для меня в училище предметом удивления. Казалось, ничего не было загадочного в его натуре, однако ж я никак не мог разгадать ее и с нею освоиться. Казалось, подойти к нему мог всякий, легко и удобно, но всякий раз, как мне случалось близко подходить к нему, я чувствовал, что между ним и мною остается какое-то смутное, пустое пространство, и что его нельзя уже сузить, что дальше идти уже некуда. Он был хорош со всеми, и все хороши с ним; он принимал участие во всем, что нас всех занимало и волновало, и, казалось, способен был все понять и говорить обо всем со всяким, но не видать было, чтоб он чему-нибудь отдавался, увлекался чем-нибудь. Когда беседа состояла из соблазнительных анекдотов и у него был в запасе свой анекдот, то он звучал каким-то извне принесенным звуком; когда велись серьезные речи, вставлял и он свое мерное слово; когда кружок либеральничал, и он не оставался в долгу либеральною фразой, но она точно из книги была вынута. Когда мы все попадались в так называемую историю и вода вы-

ступала у всех выше головы, и он не отставал от нас, — упрекнуть его нельзя было даже в прямой трусости, — но, странное дело! когда вода сбывала, он выходил сух из нее и отряхался в минуту, тогда как мы все выходили мокрые и помятые.

Нельзя сказать, чтоб его не любили, но и сердечных друзей у него не было. Никто не удивлялся его уму, ни в ком случайно сказанное им слово не будило души и не поднимало мысли, но все считали его *способным* человеком, и хотя он был постоянно в успехе, успехи его почти ни в ком не возбуждали зависти. Он занимался прилежно, хотя не принадлежал к числу так называемых зубрил, и успешные ответы его давались ему, по-видимому, без особенных усилий. Не помнили, чтоб он когда-нибудь *срезался* в своих ответах: так все кругло у него выходило. Начальство наше считало его звездой нашего класса, его выставляли вперед в показных случаях, об нем говорили, как о человеке, который пойдет далеко. Начальство наше было в восторге от его ответов, от его сочинений, от того, как он держал себя, от его приличного и обчищенного во всем внешнего вида и поведения. Но я помню, что меня мало удовлетворяли и сочинения его, и ответы: я удивлялся только круглоте и гладкости, с которою все у него бывало обделано и налажено, но все, что он говорил, оставляло во мне какое-то впечатление неполноты, недостаточности: точно завтрак, прекрасно сервированный, из-за которого гость встает голодным.

Пророчество нашего начальства оправдалось. Никандр пошел быстрыми шагами в служебной карьере. Через несколько лет, приехав в столицу, я застал его на значительном месте. И тут, по службе, имя Никандра звучало беспрестанно в устах у начальства с восторженною похвалою. Отовсюду слышалось: какой способный человек! Какое у него *перо*! И подлинно, по общему отзыву, Никандр обладал мастерством изложения, которое особенно ценил его начальник. Но я опять становился в тупик перед изложением Никандра и всеобщими похвалами, когда случалось мне читать бумаги, им писанные. Бумаги эти производили на меня то же впечатление, как и ответы его на экзаменах, — впечатление прекрасно сервированного завтрака, на котором есть нечего. Меня томил голод, а другие оказывались сытыми и довольными. В бумагах Никандра, в записках и докладах его выказывалось для меня ясно только уменьье его, действительно мастерское, притупить и обольстить вкус, поглотить сущее зерно вопроса, опутать его пеленами закругленной фразы до того, что читатель, упуская из виду сущность и корень дела, сосредоточивал интерес свой на оболочке, на побочных и формальных

его принадлежностях, на тех путях, по которым дело следует от истока своего до впадения; таким образом искусно составленная бумага гладко и ровно доводила податливого читателя до потребного результата, отмечая ту точку, к которой требовалось на сей раз прибуксовать дело. Казалось, все так ясно изложено было в обточенных фразах, но в сущности ничто не было ясно, все прикрывалось туманом; а дело, по бумаге, в конце концов обдeldывалось — e sempre bene⁶¹.

Прожив еще несколько лет в своем углу, куда достигали от времени до времени новые хвалебные слухи о способностях Никандра, я снова приехал в столицу и застал его на новом месте, еще более значительном. Тут пришлось мне быть свидетелем его деятельности и дивиться снова его умению, хотя оно не переставало казаться мне странным искусством. Но сам я, став уже старше годами и опытом, начал понимать, что много есть вещей в деловом мире, о которых не смеет и мечтать юношеская философия. Черты Никандровой физиономии стали выясняться передо мною, и он стал для меня любопытным предметом изучения уже не сам по себе, а в нераздельной связи с той средою, в которой совершалась его деятельность. Он говорит немного, но внимательно слушает: внимательно, хотя, по-видимому, равнодушно. Редко можно подметить в чертах лица его выражение оживленного участия: видишь иногда чуть-чуть тонкую тень беспокойства, когда рассуждения принимают тревожный характер. Это беспокойство переходит даже в некоторое волнение, когда при разноречии затрагиваются и возбуждаются вопросы деликатного свойства, особливо когда спор угрожает повести к одному из явлений, носящих название *скандала*. Все инстинкты Никандра направлены к изглажению всякой неровности в характерах, в ощущениях, в мнениях, к погашению всякого пререкания, к водворению согласия и спокойствия повсюду. Он уже тревожится, когда рассуждение начинает проникать в глубь предмета, когда оно пытается свести отдельные вопросы к общему началу, добраться до основной идеи; зная по опыту, что разногласие в основной идее — всего упорнее и раздражительнее, — он пускает в ход всю свою тактику, чтобы погасить его. Надобно дивиться, с какою ловкостью старается он тогда свести противников с опасного поля и перевести их на другое, ровное и гладкое поле бирюлек, мелочей, подробностей и частных дел. На этом гладком поле он господин: тут небольшого уже труда стоит ему уверить спорщиков, что они, в сущности, согласны между собою, что не стоит им возбуждать вопросы, не имеющие существенного значения. На этом поле я не видал мастера, подобного Никандру, и

подвиги его поразительны! Он умеет поставить перед собою противников, которых разделяет, по-видимому, непроходимая бездна коренного противоречия в основных мнениях о предмете: борьба происходит, по-видимому, между элементами, и кажется непримиримою. И что же, глядишь, в какие-нибудь десять минут Никандр успел наполнить эту бездну легким пухом, прикрыть ее тонким хворостом, — и противники уже переходят по ней, подавая друг другу руку! Никандр не любит основных идей; но недаром он опытен. Он знает, что основные идеи лежат большею частью в умах неглубоко, и почти всегда есть возможность отвести от глубины неуверенную мысль или смутное ощущение, стремящееся в глубину. Для этого есть у него прием, который редко изменяет ему: против основных идей он умеет, в крайнем случае, выставить так называемые принципы, общие положения, решительные приговоры, на которые редко кто посмеет возразить. Есть волшебные слова, которыми очаровывается у нас всякое освещение — и Никандр умеет произносить их в нужную минуту. Такое словечко, вроде классического *Quos ego*⁶² — мигом успокаивает у нас поднявшиеся волны. «Всеми признано уже ныне», «новейшая цивилизация дошла до такого-то вывода», «статистические цифры доказывают», «во Франции, в Пруссии и т. п. давно уже введено такое-то правило», «такой-то европейский ученый, на такой-то странице, сказал то-то», «никто уже ныне не спорит, напр., что цена определяется пропорцией между спросом и предложением» и множество тому подобных изречений — вот волшебные орудия, творящие чудеса в наших рассуждениях. Но самое волшебное из волшебных слов это: «наука говорит, в науке признано». Никандр давно уже понял, что этого слова — наука — мы боимся, как черта, и не смеем обыкновенно возражать на него. Мы чувствуем, что эта палка о двух концах, и потому инстинктивно боимся взяться за нее, когда нам ее предлагают. Возражать на это слово — наука — да ведь это значит возбуждать вопросы: какая наука, где она, откуда, почему, — и множество других, о которых конца не будет спору и в которых мы чувствуем, что без конца перепутаемся. И так обыкновенно мы останавливаемся на этом слове, успокаиваемся и принимаем готовый результат науки, который предлагают нам, не мудрствуя лукаво о том, кто и по какому случаю и в каком смысле предлагает.

Век живи, век учись! Подлинно, я начинаю теперь только понимать, отчего в школе и в нынешней его деятельности все им довольны, все прославляют его гением дела. Говорят, что гений — тот, кто отвечает на вопросы времени, кто умеет постиг-

нуть потребность эпохи, места и удовлетворяет ей. Никандр умел понять вопросы времени, потребности среды и удовлетворить им. Что нужды, что вопросы эти мелкие, что потребности эти немудреные! Все-таки он великий человек — и, увы, отчасти представитель великих деятелей нашего времени. Около него образовалась уже целая школа подобных ему деятелей. Как они все благоприличны, как они гладки, как ровно и плавно вступают в репутацию «способных» людей! Когда я вижу их, мне невольно приходит на мысль отрывочная сцена из «Фауста». «Духи исчезают без всякого запаха. *Маршалок* с удивлением спрашивает *бискупа*⁶³: слышите вы, чем-нибудь пахнет? — Ничего не слышу, отвечает бискуп. А *Мефистофель* поясняет: Духи этого рода, государи мои, не имеют никакого запаха (Diese art Geister stinken nicht, meine Herren)».

II

Спокойно и без смущения смотрю я на Лаису, когда она, раскинувшись в пышной коляске, мчится по большой улице, отвечая улыбками на поклоны гуляющей знати; или сидит, полуодетая, полураздетая, в опере, и дамы большого света бросают на нее взгляды зависти, смешанной с презрением, — хотя презрение не мешает им потихоньку заимствовать от нее отдельные черты манер ее и туалетов. На лице у нее открыто написано, кто она, чего ищет, для чего живет, одевается и веселится на свете, и она носит на себе имя свое без лицемерия, хотя и без стыда. Когда она, озираясь вокруг себя на нарядные ложи, нахально лорнирует разряженных дам модного света, — ее нахальство не удивляет меня — и не возмущает: взор ее как будто говорит им: «я — подлинно та, за кого меня принимают, и мое лицо открыто; а вы — зачем в масках ходите?» Задумываюсь над участью Лаисы, и мне становится жаль ее: приходит на мысль, — какими судьбами жизнь привела ее на этот путь, какая среда ее воспитала и привила к ней жажду дикого наслаждения? Приходит на мысль: чем этот путь для нее закончится и к какой плачевной старости приведет ее молодость, прогорающая в опьянении страсти?..

Лаиса живет в своем кругу, и ей закрыты двери салонов большого света. Но когда в этих салонах я встречаю гордую и величественную Мессалину, — душа моя возмущается, и я не могу смотреть на нее без негодования. Перед нею широко раскрыты все большие двери; нет знатного собрания, куда бы не пригла-

шали ее и где бы не встречали ее с почетом; около нее кружится рой знатной молодежи; громкий титул, блестящая обстановка, роскошное гостеприимство — привлекают в ее салон всех, кто считает себя принадлежащим к избранному обществу. Все рассыпаются в похвалах ее красоте, ее вкусу, ее любезности, ее веселому нраву; словом сказать: «увенчанная цветами граций, она бодро шествует по земле благословенной». Но когда, взяв зеркало правды, я спрашиваю себя, какая разница между знатной Мессалиной и презренной Лаисой, — увы! Лаису мне жаль, а к Мессалине я чувствую презрение.

Когда она является на бал, я смотрю на нее с ужасом, хотя многие на нее любуются. Искусство обнажать не только шею и грудь, но и спину, и руки, доходит у нее до таких пределов, — до каких не простирается обычай у самой Лаисы, так что многие из постоянных ее посетителей с усмешкой смотрят на туалет Мессалины. Иные уверяют даже, что гость Лаисы не услышит от нее таких разнузданных речей, таких цинических шуток, какие слышит от Мессалины кавалер ее в мазурке или сосед ее — в рулетке. Но на Лаисе лежит печать отвержения, а Мессалина — царит в салонах.

У Лаисы нет семьи, нет дома в настоящем смысле слова, — и она состоит *вне* семейного круга. У Мессалины, правда, есть муж, коего громкое имя она носит, и есть дом, великолепный, с целою когортою ливрейных лакеев на мраморной лестнице. Но какая связь соединяет ее с этим мужем и для чего живут они под одною кровлей, — это тайна, известная одной Мессалине. В ее салоне муж присутствует; муж сопровождает ее в другие салоны, и все покрывает собою. Но когда встречают Мессалину — зимою на бешеной тройке или весной на шумном гульбище в шикарном экипаже, запряженном рысаками, — некто другой, а не муж разделяет с нею часы забавы и веселости; и даже в присутствии мужа некто другой кажется ближе к ней и вольнее с нею обходится... И вот что удивительно: встречая Лаису с одним из рыцарей избранного круга, многие стыдливо смотрят в сторону, но когда встречают они Мессалину с ее излюбленным спутником из той же компании, приветливо раскланиваются и потом шепчутся между собою с улыбкой. О, добродетель и честь светского общества, кто распознает пути твои!

Мессалина мать — у нее есть дети, но какая нравственная связь существует у этой матери с детьми, — не распознаешь. Она почти не видит их и почти не знает, что с ними делается. В особом отделении дома живут они с гувернантками и в определенный час являются, в виде бабочек, в костюмах последней

моды, с голыми руками и ногами, принять от матери поцелуй и удалиться восвояси. Ей нет времени думать и о детях, посреди нервного возбуждения, в котором проходят дни ее и ночи. Засыпая рано поутру, просыпаясь поздним утром, едва соберет она расшатанные чувства свои, как уже принимает гостя, потом едет гулять с ним, потом принимает гостей в своем салоне, перебирая с ними вести и сплетни и скандалы вчерашнего дня и нынешнего утра и составляя инвентарь настоящих и предстоящих развлечений и праздников. Одевается утром, одевается к обеду, одевается в оперу, одевается на бал или на вечер. В чем интерес ее жизни? где умственные или нравственные пружины, которые приводят ее в движение? К какому центру собираются мысли ее и желания? На эти вопросы не находишь ответа, когда видишь переливание из пустого в порожнее, составляющее всю жизнь ее. На столе у нее лежат книги, — но едва ли ее видали читающею. Уединение нестерпимо для нее; — быть на людях — непрерывная ее потребность: для чего? Для какой-то бессмысленной игры в непрерывное *развлечение*. Жизнь должна представляться ей чем-то вроде непрерывного праздника, во вкусе картин Ватто, с электрическим освещением. Натуральный человек, сколько бы ни стремился наслаждаться по своему желанию, спотыкается поневоле о заботу, о болезнь, о горе и утрату, — и перед ним встает призраком таинственная идея жизни и смерти. Мессалина неуязвима и тут. Что для нее забота о доме, о семье, о детях? Это дело управляющего, в крайнем случае, дело мужа. Болезнь? Но она крепка здоровьем и привыкла настраивать свои нервы — на то есть доктор, на то есть крепкие капли хлорала. Горе? Есть ли такое горе, которое нельзя бы прогнать — можно уехать в Баден, в Монако, где столько сильных ощущений, наконец, в Париж, где с помощью Ворта нетрудно стряхнуть с плеч всякое горе. Иногда *стыд* появляется там, где его не спрашивают, — но как он посмеет перейти порог великолепных чертогов, куда съезжаются все такие почетные, все такие знатные люди есть и пить и праздновать и любоваться хозяйкой, где разряженные дамы рассказывают друг другу про любовные игры свои и похождения, где слышится во всех углах щебетанье взаимного самодовольства и беззаботной веселости, где все извиняют друг другу все — кроме строгого отношения к нравственным началам жизни... Страшна, казалось бы, *старость* для светской женщины? Но разве парижская наука не изобрела надежных средств против натурального увядания красоты и разве мало старух, которые являются молодыми с помощью фальшивого румянца, фальшивой кожи, фальшивых волос и даже бюста фальшивого?

Наконец, — *смерть*, ведь стоит за плечами у каждого... смерть — смерть — но — *franchement, après tout*⁶⁴, — кто же думает о смерти!

Казалось бы — есть одно место, откуда слышится гроза и веет страхом. Все ложь — в жизни и обстановке Мессалины. Роскошь, ее окружающая, дом ее с великолепным убранством, расставленные по лестнице величественные лакеи, тысячные наряды ее и уборы, — все это ложь, все это должно, кажется, рухнуть каждую минуту. Все это, и давно уже, в сущности, не ее, а чужое, мнимое, потому что счет уже потерян долгам ее и ее супруга, и счета из магазинов, ей предъявленные, давно уже составляют безобразную кучу, в которой никто не умеет разобраться. Имена ее заложены и назначаются то и дело в публичную продажу, заводы то и дело останавливают свое действие, заимодавцы пристают с требованиями и предъявляют иски. Но каким-то волшебством все это распутывается в критические минуты — имена освобождаются от продажи, заводы восстанавливают свое действие, заимодавцы, подобно завоевателю, гонимому неведомым страхом, рассеиваются и притихают, — и Мессалина объявляет в своих чертогах бал, на котором присутствует избранное общество, — и нет конца восторженным похвалам блеску, и вкусу, и великолепию бала. .. Ни для кого из блестящих гостей Мессалины не тайна, что все это величина мнимая, — но все летят, как ночные бабочки на яркий свет, на роскошное убранство, не спрашивая, чье оно и откуда, все довольны, все восхищаются: таковы узы дружбы, связующей воедино толпу людей, вместе жаждущих наслаждения и возбуждения, и вместе кланяющихся идолу тщеславия. Однажды, казалось, совсем гибель настает для Мессалины, и уже нет спасения: какие жалостные речи поднялись тогда об ней в гостиных: «Слышали вы: бедная Мессалина — дела их очень плохи. Говорят, что у них осталось уже не более 20 тысяч рублей дохода — ведь это ужасно, ведь это нищета — не правда ли?» Можно ли потерпеть такое разорение такого дома? Полетели изо всех углов ходатайства и мольбы, и вот, точно волшебным велением, благоприятный ветер принес немалые деньги для поправления дел в расстроенном хозяйстве... Итак, мудрено ли, что Мессалина беззаботна и никакими страхами не смущается. Гордо выступают они с супругом, прямо глядя в глаза всем и каждому; сколько раз, когда случается встречать их, приходит на мысль стих из Расиновой Федры: «Боги, кои любите их и награждаете, — неужели за добродетели?»

Мессалина и подобные ей живут на высотах, никогда не спускаясь в долину. Смотришь к ним навверх и с изумлением спра-

шиваешь себя: как эти люди, дыша всегда воздухом горних высот, не задохнутся? Или, подобно олимпийцам⁶⁵, питаются они амброзией? Они видят и слышат только подобных себе, и все дела, заботы, печали и радости людей дольного мира представляются им в туманной картине, долетают к ним как дальнее жужжание насекомых. Посмеет ли бедность и горе проникнуть в раззолоченные их чертоги, не в виде идеи и понятия, а в виде живого страждущего человека, и стать в личное к ним сочувственное отношение? Боже избави сказать, что они злые люди: нет, многие из них добрые люди и исполнены самых благих намерений; но им некогда остановиться и сосредоточиться в круговороте дня, посвященного от минуты до минуты исканию наслаждений и развлечений, условным обязанностям и условным приличиям того круга, в коем они вращаются. Иные, когда просыпается в них совесть, клянут себя и свой образ жизни и говорят: «завтра начну по-человечески». Но это завтра никогда не приходит, потому что на завтра же неумолимый устав очарованного круга начертал расписание часов, забав и условных обязанностей...

Одно из самых тонких искусств — искусство обманывать себя и успокаивать свою совесть, — и в этом искусстве человечество упражняет себя, с тех пор как мир существует: мудро ли, что приемы его доведены до виртуозности. Люди, живущие условною жизнью замкнутого круга, не могут успокоиться на той мысли, что им нет дела до того, что происходит в жизни обыкновенных смертных, нет дела до нищеты, нужды и бедности. Надо и им показать, что ничто человеческое для них не чуждо. И вот, изобретено для того орудие учреждений общественной благотворительности — прекрасное средство для очистки личной совести отдельного человека. *Учреждение* само по себе существует и действует, подобно всякому учреждению, действует по регламентам и уставу; а *человек*, человек со своей совестью, с своим чувством, с личною энергией воли, живет сам по себе, вольно, и всякую печаль, которая портила бы жизнь его, стесняла бы свободу его, отнимала бы у него вольное время, — слагает на *учреждение*...

При помощи такого гениального изобретения в том очарованном круге, где блесит и господствует Мессалина, *ядущее* превращается в *ядомое*, из *горького* происходит *сладкое*, и дело благотворения, дело жалости и боли душевной, дело взаимного сочувствия между сынами праха во имя высшего духовного начала любви, — превращается в один из видов общественного увеселения и представляет из себя ярмарку тщеславия.

И вот, в каком виде является Мессалина покровительницею бедных, благодетельницею страждущего человечества. Я видел ее в эти минуты, как она стояла, в свете электрического освещения, под звуки бального оркестра, за одною из лавочек, артистически устроенных в великолепных залах большого дома, на одном из так называемых *Базаров благотворительности*⁶⁶. Она была ослепительно красива в своем блестящем туалете, только что полученном из Парижа и стоившем бешеных денег. Около нее толпились покупатели, таявшие от взгляда ее и улыбки, и выручка ее в этот день возбуждала зависть во множестве подобных лавочек. Она сошла в этот день с своего места с гордым сознанием исполненного долга и нового, изведенного торжества, — хотя вся ее выручка, как и выручка подруг ее, не достигала цены тех туалетов, которые она на себе носила... Невольно приходило на мысль: какая громадная сумма составила бы из сложения всех тех цифр, которые принесли в залу на плечах своих эти благодетельные особы!

В этом собрании не было места Лаисе — и зачем ей быть здесь! Лаиса презренная женщина; «отчаянная жития ради и уведомая права ради». Но — была однажды такая же, как она, носившая в себе огонь *любви*, в диком блуждании по распутиям мира. Много и долго грешила она, но все грехи были отпущены ей потому, что любила она много, хотя не знала до последней встречи с истинным началом любви, — куда девать любовь свою. — Но кого, кроме себя, любила и любит Мессалина, и какой огонь носит она в себе?

III

Есть люди сухие и не очень умные, с которыми можно говорить серьезно, на которых можно положиться, потому что у них есть твердое, определенное мнение, есть известный характер, который неизменно в них является. Есть люди умные и занимательные, которых нельзя разумеать серьезно, потому что у них нет твердого мнения, а есть только ощущения, которые постоянно меняются. Таковы бывают нередко так называемые художественные натуры: вся жизнь их — игра сменяющихся ощущений, выражение коих доходит до виртуозности. И выражая их, они не обманывают ни себя, ни слушателя, а входят, подобно талантливым актерам, в известную роль и исполняют ее художественно. Но когда в действительной жизни приходится им действовать лицом своим, невозможно предвидеть, в какую сторону направится их де-

тельность, как выразится их воля, какую окраску примет их слово в решительную минуту... Такое развитие мысли и чувства — к сожалению — обычное явление у нас, и особенно между людьми даровитыми по природе. Способности их развиваются — в художественную сторону: не видать у них ясной и определенной идеи, на которой стоит человек и которая держит его в жизни и деятельности, — но все перешло в ощущение. Они способны вдохновляться всякою средою, в которую случайно попадают, быть проповедниками и певцами всякой идеи, какую в этой среде зацепили и какая имеет в ней ход. Впадая притом в непрерывные противоречия — сегодняшнего со вчерашним, они умеют искусно соглашать эти противоречия и переходить от одного к другому искусною игрою в оттенки всякой мысли и в переливы всякого ощущения. В политической или служебной сфере такие люди — иногда бессознательно — делаются карьеристами, привыкая идти по течению ветра, который дует в ту или иную сторону и одухотворяет в себе всякое попутное веяние. Между государственными людьми, произносящими речи в собраниях, между прокурорами и адвокатами нередко встречаются такие примеры: вдохновляясь впечатлением минуты, тот же человек, который сегодня был строгим, неумолимым судьей неправды, завтра является ее защитником, будет с горячим убеждением, с порывом вдохновения отстаивать совсем противоположную идею и отыскивать черты красоты в том явлении, которое вчера обличал в нравственном безобразии.

Свойство талантливого актера вдохновляться каждою ролью и входить в душу и характер каждого лица, которое он представляет. Но вместе с тем, потому он и предается этому искусству, потому и способен переживать моменты характерного действия в лице представляемом, что перед ним масса зрителей, коих душа сливается в эти моменты с его душою, — стало быть, вдохновляясь своею ролью, он в то же время вдохновляется массою публики. Вот почему так увлекательно действует лицедейство, доходя до страсти, и в актере, и в зрителях. То же ощущение свойственно всякому оратору в общественных собраниях: действуя, то есть разглагольствуя в той или другой идее, в том или другом направлении и вдохновляясь своею задачей, он в то же время вдохновляется тою средою, в которой действует, не отрешаясь ни на минуту от своего я, а свое я стремится у него к возбуждению в этой среде ощущений, — сочувствия или восторга. И это стремление может доводить до страсти талантливую натуру, так что она неудержимо ищет *сцены* для своего искусства, упражняя его на всякой сцене, в многочисленном собрании, в беседном кружке гостиной или кабинета, применяясь к на-

строению каждого кружка и вдохновляясь всяким цветом, каким он окрашен.

Таковыми людьми изобилуют совещательные и законодательные собрания: можно сказать, что из них образуется большинство, составляющее решительные приговоры. Противовесом им, казалось, могли бы служить люди серьезного дела и твердого направления, но эти люди редко бывают сильны словом, т. е. не умеют владеть орудием, которым располагают свободно их противники, люди ощущения и натиска. Чем многочисленнее собрание, тем более смешанным представляется состав его, тем менее оно способно уразуметь идею вопроса, обнять фактическое его содержание и уразуметь в нем правду и неправду, — и тем более способно увлекаться ощущением, — иногда ощущением минуты, — которое произвел тот или другой оратор. Немногие приступают к делу, ознакомившись с ним предварительным его изучением, добросовестно: остальные являются в собрание, не имея точного понятия о деле или со смутным об нем представлением, или приступают к нему с предрассудком и предрасположением. В таком собрании художник слова является господином ощущения: искусно орудия расположением фактов и чисел, набрасывая на них свет и тени по своему усмотрению, возбуждая одних пафосом, запугивая других иронией, он овладевает полем, и борьба с ним за истину становится крайне затруднительна, а иногда и невозможна для человека, не умеющего орудовать фразой, но орудующего строгою связью логического рассуждения. Его аргументы недоступны множеству людей, увлеченному ощущением, и чем он совестливее, чем живее ощущает нравственную ответственность за свое мнение, тем труднее для него одолеть безответственное большинство, не имеющее совести, — ибо какая может быть совесть в огульном мнении, лишенном единства и цельности и объединяющемся одною лишь цифрою голосов? Цифра — вот, что служит ныне, к сожалению, — конечным критерием истины, и решительною санкцией приговоров, коими решаются нередко важнейшие вопросы государственной политики...

IV

Тип мольеровского Гарпагона имеет много разновидностей, которые мало еще подвергались художественной разработке. Странно, что в комедии до сих пор никто не обратил внимания на особый вид скряжничества — скряжничество *временем*; а это сюжет богатый.

Как Мольеров скупой копит деньги и дрожит над ними, так иного рода скряга копит время и дрожит над ним, не делая из него сам производительного употребления, или — любуясь только своим капиталом, как скупой любит червонцами. Деньги ожили бы, если б ожила душа, ими владеющая, и стали бы в руках у человека могучим орудием плодотворной производительности и разумного благотворения: подобно всякой силе, деньги требуют живого обращения. О времени уже сказали англичане, что время — те же деньги. Живая душа должна пускать его в обращение, издерживать его производительно, не жалея, но и не расточая, не разматывая.

Наш общественный быт богат этими двумя крайностями. С одной стороны, у нас слишком много праздных сил и чрезвычайно развито мотовство временем у людей, не знающих, куда девать его. Столкновение людей этого типа с людьми работающими и дорожащими временем предстает положением, не лишённое комизма. С другой стороны, мы нередко встречаем у себя скопидомов времени — и, к сожалению, не редкость встречать их между так называемыми деловыми людьми, даже сущими во власти.

Боязнь потерять время доходит иногда у такого человека до нервного раздражения, заставляющего его запирается от людей и смотреть, как на вора и похитителя, на всякого, кто является к нему с живым делом, для объяснения или просьбы. Оттого иных людей и сущих во власти бывает так трудно увидеть даже за самым нужным делом. Единственный способ сообщения с ними — письмо или бумага: письменные сообщения действуют на них успокоительно, хотя соединное с ними канцелярское производство требует гораздо большей траты времени, нежели личное объяснение. Может быть, это одна из причин сильного развития, которое получает у нас бумажное дело. Спросите такого человека, зачем он так ревниво запирается и копит свое время: он скажет, что всякая минута дорога ему. Но если присмотреться ближе, на что идут у него эти минуты и часы, приходится только подивиться, из-за чего он хлопочет, из-за чего отрывает себя от жизни, от людей, от живой действительности, и сидит, подобно Гарпагону, над своим сокровищем.

V

Ксенофон в своих воспоминаниях о Сократе рассказывает поучительную историю одного молодого афинянина, который, не

имея еще 20 лет от роду, задумал попасть в государственные люди и стал усердно произносить публичные речи в надежде привлечь к себе народное расположение. Когда он пришел к Сократу, Сократ спросил его: «Слышу я, Главкон, что тебе очень хочется иметь власть в государственном управлении?» — «Да, признаюсь, хочется» — «Какая прекрасная доля, — сказал ему Сократ, — управлять государством, сколько можно сделать добра своему отечеству! в какую честь поставить себя и весь дом свой! как можешь прославиться в Афинах, — да и не в одних Афинах! Фемистокл был славен и между варварами... Прекрасно! Только, я думаю, и ты согласен со мною, что такая честь не дается даром: надо чем-нибудь заслужить ее?» — «О, конечно», — спешил отозваться Главкон. — «Скажи же мне, — продолжал Сократ, — с чего ж бы ты начал, например?» Молодой человек не давал ответа; он еще ни разу не думал, с чего начать. — «Однако, посмотрим; например, говорят: казна нужнее всего для государства: ты, конечно, старался бы прибавить доходов казне?» — «Разумеется, так». — «Любопытно знать, с чего бы ты начал? Конечно, тебе уж очень известно, с каких статей казна получает доходы, и сколько получает, и откуда?» Юноша должен был признаться, что не знает этого в точности. — «Ну, в таком случае, скажи мне, какие расходы тебе кажутся лишними, какие ты хотел бы сократить?» — «Признаюсь, что я не имел до сих пор времени и об этом хорошенько подумать. Но мне казалось, Сократ, что нечего много и думать об этом, когда можно устроить казну на счет неприятеля...» — «Правда твоя, но для этого необходимо побеждать неприятеля, быть сильнее его; а ежели он сильнее, то еще и он, пожалуй, твое отнимет. Стало быть, если рассчитываешь на войну, надо знать в точности свою силу и неприятельскую. А ты знаешь ли, скажи мне, сколько у нас сухопутных сил, сколько морских сил и каковы силы у наших неприятелей?» — «Так, из головы, в одну минуту, не могу тебе рассчитать». — «Все равно, — продолжал Сократ, — если у тебя где-нибудь записано, посмотрим вместе». Но и на письме у Главкона ничего не оказалось. «Ну, хорошо, — начал опять Сократ, — я вижу, и эту статью нам придется покуда оставить, видно еще время ей не пришло. Но уж, наверное, ты знаешь все, что относится до внутренней охраны государства: сколько где есть и сколько потребно постов для внутренней стражи, где чего недостает и надо прибавить, где что лишнее и надо убавить?» — «Да, по правде сказать, — отвечал Главкон, — я бы все их уничтожил, когда бы от меня зависело. Что у нас за стража — стоит ли держать ее, когда повсюду воровство такое,

что никто не уберезется!» — «Как же так? Ведь если снять отовсюду караулы, то воры будут грабить на воле, среди белого дня... Да разве тебе это дело так близко известно и ты подлинно знаешь, что никуда не годится наша полиция?» — «Так мне кажется; все говорят, что так». — «Нет, Главкон, тут мало предполагать, а надо знать подлинно». И Главкон должен был согласиться с Сократом. — «Ну, вот, — спросил еще Сократ, — ты хочешь управлять государством. Знаешь ли ты, сколько в нашем городе требуется в год пшеницы для народного продовольствия, каков может быть домашний запас ее и сколько еще потребно закупить из-за границы?» — «Как все это знать, Сократ, — отвечал молодой человек, — ты столько спрашиваешь, что надо предпринять страшную работу, чтобы тебе ответить». — «Но ведь нельзя без этого, Главкон; своим домом не управишь, не зная, сколько чего для дому требуется, а государством много труднее управлять, нежели домом. Вот у тебя свой дом, т. е. дом твоего дяди, расстроен: начни с этого — исправь дядин дом и увидишь, достанет ли у тебя уменья и силы». — «Да я охотно взялся бы за это дело, только дядя советов моих не слушает». — «Как? — сказал на это Сократ, — ты не можешь уговорить своего дядю и воображаешь, что в состоянии всех афинян, вместе и с дядей, убедить своими речами?»... Беседа эта заключилась, наконец, тем, что молодой человек образумился, стал учиться и перестал произносить речи в народных собраниях.

Эту простую и старинную историю кстати припомнить в настоящее время, когда вся земля кишит Главконами, стермющимися к государственной деятельности на поприще всевозможных преобразований; когда юноши, едва покинувшие школьную скамью, притом плохо обсиженную, — начинают уже строчить в канцеляриях полуграмотные проекты новых уставов или производят речи, нанизывая фразу за фразой. Только в ту пору был Сократ, к которому родные привели молодого честолюбца, заметив, что он становится смешон со своим пустым красноречием. А в наше скудное время нет никакого Сократа, да если б и был он, Главконы наши не пошли бы к нему и не стали бы его слушать. Пустые речи их звучат в собрании подобных же им слушателей, надувая оратора непобедимым самодовольством и непогрешимую самоуверенностью; проекты их проходят без критики и возбуждают еще иногда удивление, вместо смеха; перед ними раскрывает ровные свои ступени та желанная лестница, по которой восходят, окрыленные фразой, новейшие деятели...

ВЛАСТЬ И НАЧАЛЬСТВО

Есть в душах человеческих сила нравственного тяготения, привлекающая одну душу к другой, есть глубокая потребность воздействия одной души на другую. Без этой силы люди представлялись бы кучею песчинок, ничем не связанных и носимых ветром во все стороны. Сила эта естественно, без предварительного соглашения, соединяет людей в общество. Она заставляет в среде людской искать другого человека, к кому приражаться, кого слушать, кем руководствоваться. Одушевляемая нравственным началом, она получает значение силы творческой, совокупляя и поднимая массы на великие дела, на великие подвиги.

Но для общества гражданского недостаточно этого вольного и случайного взаимного воздействия... Естественное, как бы инстинктивное стремление к нему, огустевая и сосредоточиваясь, ищет *властного*, непререкаемого воздействия, которым объединялась бы, которому подчинялась бы масса со всеми разнообразными ее потребностями, вожделениями и страстями, в котором обретала бы возбуждение деятельности и начало порядка, в котором находила бы посреди всяких извращений своеволия, — *мерило правды*. — Итак, на *правде* основана, по идее своей, всякая власть, и поелику правда имеет своим источником и основанием Всевышнего Бога и закон Его, в душе и совести каждого естественно написанный, — то и оправдывается в своем глубоком смысле слово: *неть власть аще не от Бога*.

Слово это сказано *подвластным*, но оно относится столь же внушительно и к самой власти, и — о, когда бы сознавала всякая власть все его значение! Великое и страшное дело — власть, потому что это дело — *священное*. Слово *священный* в первоначальном своем смысле значит: *отделенный*, на службу Богу обреченный. Итак, власть — *не для себя* существует, но ради Бога, и есть *служение*, на которое *обречен* человек. Отсюда и безграничная, страшная сила власти, и безграничная, страшная тягость ее.

Сила ее безгранична, и не в материальном смысле, а в смысле духовном, ибо это сила рассуждения и творчества. Первый момент мироздания есть появление *света* и отделение его от *тьмы*. Подобно тому и первое отправление власти есть обличение *правды* и различение *неправды*: на этом основана вера во власть и неудержимое тяготение к ней всего человечества. Сколько раз, и повсюду, вера эта обманывалась, и все-таки источник ее остается цел и не иссякает, потому что без правды жить не может человек. Отсюда происходит и творческая сила власти — сила

привлекать людей добра, правды и разума, возбуждать и одушевлять их на дела и подвиги. — Власти принадлежит и первое и последнее слово — альфа и омега в делах человеческой деятельности.

Сколько ни живет человечество, не перестает страдать то от власти, то от безвластия. Насилие, злоупотребление, безумие, своекорыстие власти — поднимает мятеж. Изверившись в идеал власти, люди мечтают обойтись без власти и поставить на место ее слово закона. Напрасное мечтание: во имя закона возникающие во множестве самовластные союзы поднимают борьбу о власти, и раздробление властей ведет к насилиям — еще тяжелее прежних. Так бедное человечество в искании лучшего устройства носится точно по волнам безбрежного океана, в коем бездна призывает бездну, кормила нет — и не видать пристани...

И все-таки — без власти жить ему невозможно. В душевной природе человека — за потребностью взаимного общения, глубоко таится — потребность власти. С тех пор, как раздвоилась его природа, явилось различие добра и зла, и тяга к добру и правде вступила в душе его в непрестанную борьбу с тягою к злу и неправде, — не осталось иного спасения, как искать примирения и опоры в верховном судии этой борьбы, в живом воплощении властного начала порядка и правды. Итак, сколько бы ни было разочарований, обольщений, мучений от власти, человечество, доколе жива еще в нем тяга к добру и правде, с сознанием своего раздвоения и бессилия, не перестанет верить в идеал власти и повторять попытки к его осуществлению. Издревле и до наших дней безумцы говорили и говорят в сердце своем: нет Бога, нет правды, нет добра и зла, — привлекая к себе других безумцев и проповедуя безбожие и анархию. Но масса человечества хранит в себе веру в высшее начало жизни, и посреди слез и крови, подобно слепцу ищущему вождя, ищет для себя власти и призывает ее с непрестающей надеждой, и эта надежда — жива, несмотря на вековые разочарования и обольщения.

Итак, дело власти есть дело непрерывного служения, а потому, в сущности, — дело *самопожертвования*. Как странно звучит, однако, это слово в ходячих понятиях о власти. Казалось бы, естественно людям бежать и уклоняться от жертв. Напротив того — все ищут власти, все стремятся к ней, из-за власти борются, злодействуют, уничтожают друг друга, а достигнув власти, радуются и торжествуют. Власть стремится *величаться*, и величаясь, впадает в странное мечтательное состояние, — как будто она сама для себя существует, а не для служения. А между тем непререкаемый, единый истинный идеал власти в слове

Христа Спасителя: «кто хочет быть между вами первым, да будет всем слуга». Слово это мимо ушей у нас проходит, как нечто, не до нас относящееся, а до какого-то иного, особого, в Палестине бывшего сообщества, — но поистине, какая власть, как бы ни была высока, какая, в глубине своей совести, не сознается, что чем выше ее величие, чем больший объемлет круг деятельности, тем тягостнее становятся ее узы, тем глубже раскрывается перед нею свиток язв общественных, в коих написано столько «рыдания и жалости и горя», тем громче раздаются крики и вопли о неправде, проникающие душу и ее обязывающие. Первое условие власти есть вера в себя, т. е. в свое призвание: благо власти, когда эта вера сливается с сознанием долга и нравственной ответственности. Беда для власти, когда она отделяется от этого сознания и без него себя ощущает и в себя верит. Тогда начинается падение власти, доходящее до утраты этой веры в себя, то есть до унижения и разложения.

Власть, как носительница правды, нуждается более всего в людях правды, в людях твердой мысли, крепкого разума и правого слова, у коих *да* и *нет* не соприкасаются и не сливаются, но самостоятельно и раздельно возникают в духе и в слове выражаются. Только такие люди могут быть твердою опорой власти и верными ее руководителями. Счастлива власть, умеющая различать таких людей и ценить их по достоинству и неуклонно держаться их. Горе той власти, которая такими людьми тяготится и предпочитает им людей склонного нрава, уклончивого мнения и языка льстивого.

Правый человек есть человек цельный — не терпящий раздвоения. Он смотрит прямо очами в очи, и в очах его видится один образ, одна мысль и чувство единое. Вид его спокоен и бесстрашен и язык его не колеблется направо и налево. Мысль его само с собою согласна и высказывается, не допытываясь, с чьим мнением согласна она, кому приятна, чьему желанию или чьей похоти соответствует. Слово его просто и не ищет кривых путей и лукавых способов — убедить в том, в чем мысль, порождающая слово, не утвердилась в правду.

Не таков человек, не утвержденный в мысли, двоедушный и льстивый. Он глядит вам в очи, но в его очах вы не его одного видите, — но кто-то другой еще стоит сзади и выглядывает на вас, — и не знаешь, кому верить — этому или тому, другому? Говорит, и хотя бы красна и горяча была речь его, — на уме у

него: — какое она произвела на вас впечатление, согласна ли она с вашим желанием или прихотью, и если вы на нее отзоветесь, он обернет ее к вам и скажет, что вы ее создатель, что он от вас ее заимствовал. Мимолетное слово ваше он схватит на лету, облечет в форму и понесет в виде твердой мысли, в виде решительного мнения. Чем способнее такой человек, тем искуснее успеет пользоваться вами и направлять вас. Вы затрудняетесь или сомневаетесь — у него готово решение, которое выведет вас из затруднения, из беспокойства, в покой самодовольства. Вы колеблетесь распознать, на которой стороне правда, — у него готовые аргументы и формулы, способные убедить вас в том, что казавшееся вам сомнительным и есть сущая правда.

Бумага все терпит — такова старинная поговорка, образовавшаяся в то время, когда грамотейство было почти исключительно бумажное, и одна бумага служила материалом и орудием крючкотворчества. Наступило другое время — бумага осталась, но над нею стала господствовать устная речь, и пришлось удивляться новейшему крючкотворству в речах бесчисленных ораторов. Возникла новая школа, в которой и невежды одинаково с умными и учеными стали обучаться искусству красно говорить о чем бы то ни было, красно доказывать истину — чего угодно, и вести искусную игру, рассчитанную на впечатлительность слушателей. Образовалась новая порода людей, из среды коих пополняются нередко ряды практических деятелей, администраторов, судей, педагогов. Счастлив, кто, пройдя эту школу, успел еще сохранить в себе твердую мысль, добросовестность суждения и способность опознаться в истине посреди тучи общих взглядов и формул новейшей софистики; словом сказать, кто, пройдя училище *двоедушия*, успел остаться *прямодушным*.

Начальнику должно быть присуще сознание *достоинства* власти. Забывая об нем и не соблюдая его, власть роняет себя и извращает свои отношения к подчиненным. С достоинством совместна и должна быть неразлучна с ним *простота* обращения с людьми, необходимая для возбуждения их к делу и для оживления интереса к делу, и для поддержания искренности в отношениях. Сознание достоинства воспитывает и *свободу* в обращении с людьми. Власть должна быть *свободна* в законных своих пределах, ибо при сознании достоинства ей нечего смущаться и тревожиться о том, как она покажется, какое произведет впечатление и какой иметь ей приступ к поступающим людям. Но сознание

достоинства должно быть неразлучно с сознанием *долга*: по мере того, как бледнеет сознание долга, сознание достоинства, расширяясь и возвышаясь не в меру, производит болезнь, которую можно назвать *гипертрофией* власти. По мере усиления этой болезни власть может впасть в состояние нравственного помрачения, в коем она представляется *сама по себе и сама для себя* существующею. Это уже будет начало *разложения* власти.

Сознавая достоинство власти, начальник не может забыть, что он служит зеркалом и примером для всех подвластных. Как он станет держать себя, так за ним приучаются держать себя и другие, — в приемах, в обращении с людьми, в способах работы, в отношении к делу, во вкусах, в формах приличия и неприличия. Напрасно было бы воображать, что власть, в те минуты, когда снимает с себя начальственную тогу, может безопасно смешаться с толпою в ежедневной жизни толпы, на рынке суеты житейской.

Однако, соблюдая свое достоинство, начальник должен столь же твердо соблюдать и достоинство своих подвластных. Отношения его к ним должны быть основаны на доверии, ибо в отсутствии доверия нет нравственной связи между начальником и подчиненным. Беда начальнику, если он вообразит, что *все* может знать и обо *всем* рассудить непосредственно, независимо от знаний и опытности подчиненных, и захочет решать *все* вопросы одним своим властным словом и приказанием, не справляясь с мыслью и мнением подчиненных, непосредственно к нему относящихся. В таком случае он скоро почувствует свое бессилие перед знанием и опытностью подчиненных, и кончит тем, что попадет в совершенную от них зависимость. — Пушчая беда ему, если он впадет в пагубную привычку не терпеть и не допускать возражений и противоречий: — это свойство не одних только умов ограниченных, но встречается нередко у самых умных и энергических, но не в меру самолюбивых и самоуверенных деятелей. Добросовестного деятеля должна страшить привычка к произволу и самовластию в решениях: — ею воспитывается — *равнодушие*, язва бюрократии. Власть не должна забывать, что за каждую буквою бумаги стоит или живой человек, или живое дело, и что сама жизнь настоятельно требует и ждет соответственного с нею решения и направления. В нем должна быть *правда* — *личная* — в прямом, добросовестном и точном воззрении на дело, — и еще *правда* — в соответствии распоряжения с живыми социальными, нравственными и экономическими условиями народного быта и народной истории. Этой правды нет, если руководящим началом для власти служит отвлеченная *теория*

или *доктрина*, отрешенная от жизни с особливými многообразными ее условиями и потребностями.

Чем шире круг деятельности властного лица, чем сложнее механизм управления, тем нужнее для него подначальные люди, способные к делу, способные объединить себя с общим направлением деятельности к общей цели. Люди нужны во всякое время и для всякого правительства, а в наше время едва ли не нужнее, чем когда-либо: в наше время правительству приходится считаться со множеством вновь возникших и утвердившихся сил — в науке, в литературе, в критике общественного мнения, в общественных учреждениях с их самостоятельными интересами. Уменьше найти и выбрать людей — первое искусство власти; другое уменьше — направить их и ввесть в должную дисциплину деятельности.

Выбор людей — дело *труда* и приобретаемого трудом *искусства* распознавать качества людей. Но власть нередко склоняется устранять себя от этого труда, и заменяет его внешними или формальными *признаками качества*. Самыми обычными признаками этого рода считаются *патенты* окончания курсов высшего образования, патенты, приобретаемые посредством экзаменов. Мера эта, как известно, весьма неверная, и зависит от множества случайностей, стало быть, сама по себе не удостоверяет на самом деле ни *знания*, ни тем менее, *способности* кандидата к тому делу, для коего он требуется. Но она служит к избавлению власти от труда всматриваться в людей и опознавать их. Руководствуясь одною этою мерой, власть впадает в ошибки, вредные для дела. Не только способность и умение, но и самое *образование* человека, не зависит от выполнения учебных программ по множеству предметов, входящих в состав учебного курса. Бесчисленные примеры лучших учеников — ни на какое дело не годных, — и худших, оказавшихся замечательными деятелями, — доказывают противное. Весьма часто случается, что способность людей открывается лишь с той минуты, когда они прикоснулись к живой реальности дела: до тех пор наука, в виде уроков и лекций, оставляла их равнодушными, потому что они не чуяли в ней реального интереса: такова была история развития многих великих общественных деятелей.

Начальник обширного управления с обширным кругом действия не может действовать с успехом, если захочет без долж-

ной меры простирать свою власть непосредственно на все отдельные части своего управления, вступаясь во все подробности делопроизводства. Самый энергический и опытный деятель может даром растратить свои силы и запутать ход дел в подчиненных местах, если с одинаковою ревностью станет заниматься и существенными вопросами, в коих надлежит ему давать общее направление, и мелкими делами текущего производства. Место его наверху дела, откуда может он обозревать весь круг подчиненной деятельности: спускаясь непосредственно во все углы и закоулки управления, он потеряет меру труда своего и своей силы, и способность широкого кругозора, расстроит необходимое во всяком практическом деле разделение труда, и ослабит в подчиненных нравственный интерес деятельности и сознание нравственной ответственности каждого за порученное ему дело. С другой стороны, ошибется главный начальник, если представит себе лично выбор не только лиц, непосредственно от него зависящих, но и всех второстепенных деятелей и работников, подчиненных начальникам отдельных частей управления: в таком случае он взял бы на себя дело свыше сил своих, и не на пользу дела, а лишь в угоду личному произволу своему и самовластию. Начальник каждой отдельной части несет на себе ответственность за успех порученного ему дела, и отнять у него право избирать по усмотрению своему сотрудников себе и работников — значит снять с него ответственность за успешный ход дела, ослабить его авторитет и стеснить его свободу в законном круге его деятельности.

К несчастью, по мере ослабления нравственного начала власти в начальнике, им овладевает пагубная страсть *патронатства*, страсть покровительствовать и раздавать места и должности высшего и низшего разряда. Великая беда от распространения этой страсти, лицемерно прикрываемой видом добродушия и благодеяния нуждающимся людям. Побуждения этой благодетельности нередко смешиваются с побуждениями угодничества перед другими сильными мира, желающими облагодетельствовать своих клиентов. Увы! благодеяния этого рода раздаются часто на счет блага общественного, на счет благоустройства служебных отправлений, наконец, на счет казенной или общественной кассы. Стоит власти забыть, — и она уже отрешается от мысли о правде своего служения и о благе общественном, которому служить призвана.

Самая драгоценная способность правителя — способность организаторская. Это талант, не часто встречаемый, талант, не при-

обретаемый какою-либо школою, но прирожденный. О людях этого качества можно сказать, что сказано о поэтах, что они рождаются, а не делаются (*nascuntur, non fiunt*). Стоит представить себе, какое совокупление различных качеств требуется для организаторского таланта. В таком человеке сила воображения соединяется со способностью быстро избирать способы практической деятельности. Он должен быть крайне сообразителен, предусмотрителен и вместе с тем решителен для действия, угадывая для него потребную минуту; быстро проникать во все подробности дела, не теряя из виду руководящих начал его; должен быть тонким наблюдателем людей и характеров, уметь доверяться людям и в то же время не забывать, что и лучшие люди не свободны от низменных инстинктов и своекорыстных побуждений.

Счастлив государственный правитель, когда ему удастся опознать такой талант и не ошибиться в выборе. Ошибка возможна, и нередки случаи, когда организаторский талант думают усмотреть в человеке великого ума и красноречия. Но оба эти таланта не только различные, но и совершенно противоположные. Логическое развитие мысли, способность в диалектической аргументации, — почти никогда не сходятся с организаторскою способностью. Напротив того, человек, способный соображать способы действия и созидать план его, — весьма часто бывает совсем неспособен изложить доказательно то, что сложилось в уме его для действия. Но этот талант открывается лишь на деле, а красноречие, действуя на умы логикой своих доводов и критикою чужих мнений, быстро увлекает людей и вызывает сразу восторг и удивление.

Велико и свято значение власти. Власть, достойная своего призвания, вдохновляет людей и окрыляет их деятельность: она служит для всех зеркалом правды, достоинства, энергии. Видеть такую власть, ощущать ее вдохновительное действие — великое счастье для всякого человека, любящего правду, ищущего света и добра. Великое бедствие — искать власти и не находить ее, или вместо нее находить мнимую власть большинства, власть толпы, произвол в призраке свободы. Не менее, если еще не более печально, — видеть власть, лишённую сознания своего долга, самой мысли о своем призвании, власть, совершающую дело свое бессознательно и формально, под покровом начальственного величия. Стоит ей забыться, как уже начинается ее разложе-

ние. Остаются те же формы производства, движутся по-прежнему колеса механизма, но духа жизни в них нет. Мало-помалу ослабевает самое желание избирать людей, приготовленных и способных на каждое дело, и люди уже не избираются, но назначаются как попало, по случайным побуждениям и интересам, не имеющим ничего общего с делом. Тогда начинает исчезать в производствах предание, охраняемое опытными и привязанными к делу деятелями, разрушается школа, воспитывающая на деле новых деятелей опытом старых, и люди, приступающие к делу ради личного интереса и служебной карьеры, сменяясь непрестанно в погоне за лучшим, не оставляют нигде прочного следа трудов своих.

Для всякой практической деятельности потребно *искусство*, оживляющее эту деятельность, а *искусство* приобретается трудом, разумным и добросовестным, для чего необходимо *руководство*. Итак, всякое учреждение, назначенное для практической деятельности, должно быть вместе с тем школою, в которой поколение новых деятелей приучается к искусству дела под руководством старых деятелей. На этом утверждается внутренний интерес каждого дела и *нравственная* сила, долженствующая оживлять его. При этих условиях учреждение может возрастать и совершенствоваться, имея перед собою открытые горизонты: есть чего ожидать и надеяться, есть путь, куда идти вперед. Но когда учреждение немеет и мертвеет, замыкаясь в пошлых путях текущей формальности, оно перестает быть школою искусства, превращаясь в машину, около коей сменяются наемные работники. Горизонты замыкаются, некуда смотреть, и нет стремления и движения вперед. Такова может быть судьба новых учреждений, разрастающихся с усложнением общественного и гражданского быта. Такою становится школа, при множестве учеников, учителей и предметов обучения, когда приходится наполнять ее кадры учителями, неприготовленными и неспособными, учительствующими по ремеслу, ради хлеба: дух жизни пропадает в ней, и она становится неспособна образовать и воспитывать юное поколение. Таков становится суд, как бы ни были в нем усложнены и усовершенствованы *формы* производства, когда он перестает быть школою для образования крепкого знанием, опытом и искусством судебного сословия: формы застывают и мертвеют, а дух жизни исчезает в них, и сам суд может стать такою же машиной, около которой сменяются лишь наемные работники.

Представления о власти людей, желающих и ищущих власти, столь же разнообразны, как страсти и желания человеческие. В массе людей, коих помышления сосредоточены на ежедневной жизни, преобладает стремление к *улучшению своего быта*, без всяких дальнейших соображений. Затем преобладающим побуждением к власти служит *честолюбие*. В каждом человеке свое я, как бы ни было мелко и ничтожно, способно к быстрому и безграничному возрастанию, доходящему у иных до чудовищных размеров: каждый, как бы ни был мал, осматриваясь, видит около себя еще меньшие величины, успевшие при благоприятных обстоятельствах взобраться на крышу того или другого здания, и благополучно вззирающие с крыши вниз на ходячее по земле человечество. Принадлежность к сонму хотя бы «*deorum minorum gentium*»⁶⁷ соблазнительна для маленького человека, — а затем, — сколько видится на горизонте зданий всякой величины, и с маленького здания как приятно высмотреть другую крышу повыше и на нее перебраться — и вглядываться в дальние горизонты, на которых красуются «*dii majorum gentium*»⁶⁸... бывали ведь примеры и такого восхождения!

Таковы пошлые пути и течения, по коим ходит и стремится воображение малых и средних людей. Из них редкий спрашивает себя: кто я, и способен ли на то дело, которое падет на меня с моим возвышением? справлюсь ли я с ним и как буду отвечать за него? И кто ставит себе такие вопросы, у того они немедленно потухают в сиянии воображаемой славы, и вопрошающему стоит только сравнить себя со многими вокруг его сидящими на кровлях, чтобы тотчас же успокоиться.

Но, оставляя в стороне пошлые пути, — как разнообразны и чистые, возвышенные, — но увы! тоже обманчивые стремления к власти. Два знания существенно необходимы для *посвящения* человека во власть. Одно — вековечное правило: «*познай самого себя*», другое — «*познай окружающую тебя среду*». То и другое необходимо для того, чтобы человек мог сознательно определять волю свою и действовать, — действовать на воли человеческие и двигать события — в какой бы ни было обширной или тесной сфере. Действование совершается в мире *реальностей*; законы разума суть в то же время законы природы и жизни. Кто не знает этих законов, не обращает на них внимания, не применяется к ним, тот не способен действовать.

Но воображение человека, воспитанное лишь на отвлеченных стремлениях души, хотя бы самых возвышенных, но не воспи-

танное на реальностях, — возводя на высоту дух человеческий, побуждает человека представлять себя способным на действие, рисуя перед ним заманчивые картины правды и блага. Так вырастает в человеке обманчивая уверенность *в свое призвание*. А когда с этим соединяется еще вера в некоторые общие положения и аксиомы, которые, действуя будто бы сами по себе, требуют только применения к отношениям человеческим, и сами по себе способны устроить в них порядок и правду, — тогда эта уверенность принимает характер догматизма и, раздражая душу, порождает в ней страстное стремление к власти во имя высшего начала правды и блага, а в сущности все-таки во имя своего разросшегося я.

Я буду *приказывать* — мечтает иной искатель власти, и слово мое будет творить чудеса, — мечтает, воображая, что одно властное слово, подобно магическому жезлу, само собою действует. Но — бедный человек! прежде, чем приказывать, научился ли ты *повиноваться*? Прежде, чем изрекать слово власти, умеешь ли ты выслушивать и слово приказания, и слово возражения? Прошел ли ты школу служебного долга, в которой каждый человек, на известном месте, к известному времени должен исполнить верно и точно известное дело, в связи с сетью множества дел, другим порученных? Научился ли ты понимать, что приказ — это не Минерва, вдруг вышедшая из головы Юпитера, каким ты воображаешь себя, а крайнее звено, разумно связанное с цепью других звеньев, с логической цепью причины и последствия?

Иному благожелательному человеку — воображение представляет картину благодетелей: ему так хочется творить добро и служить орудием добра. Увы! для того, чтоб уметь делать добро — мало быть добрым человеком. И тот, кто благодетельствует, по Евангельской заповеди, *из своего* имущества, и тот, наконец, удостоверяется собственным опытом, что делать добро человеку, — добро в истинном значении этого слова, — очень мудреная и тягостная наука. Во сколько раз труднее она, когда приходится творить добро *из фонда власти*, которою облечен человек. Хорошо, когда, думая о себе и о своей власти, он ни на минуту не забывает, что власть принадлежит ему ради общественного блага и для дела государственного; что в сфере его властного действия запас данной ему силы не может и не должен обращаться в *рог изобилия*, из которого сыплются во все стороны щедрые дары, многообразные награды, и что данное ему от государства право судить о достоинстве лиц, о правоте дел и о нуждах, требующих помощи и содействия, не может и не должно превращаться в руках его в *право патронатства*.

Но соблазн велик — и для доброго и, — прибавим, для тщеславного человека, — а оба эти качества нередко соединяются: — как сладко быть патроном, встречать со всех сторон приветливые и благодарные взгляды! Увлечение этою слабостью может довести власть до крайнего расслабления, до смешения достоинства и способности с тупостью и низостью побуждений, до разращения подчиненных общию погоней за местами, общию похотью к почестям, наградам и денежным раздачами.

Первый закон власти: «*мерило праведное*». Оно дает силу судить каждого по достоинству и воздавать каждому должное, не ниже и не выше его меры. Оно научает соблюдать достоинство человеческое в себе и в других и различать пророк, который терпеть нельзя, от слабости человеческой, требующей снисхождения и заботы. Оно держит власть на высоте ее призвания, побуждая вдумываться и в людей, и в дела, им порученные. Оно дает крепость веленью, исходящему от власти, и властному слову присваивает творческую силу. Кто утратил это мерило своим равнодушием и леностью, тот забыл, что творит дело Божие, и творит его с *небрежением*.

ИЗ КАРЛЕЙЛЯ

I

Детство

Счастливая пора детства! Благодатная природа, всем ты добрая мать; и вот, юному своему питомцу приготовила ты уютное гнездо любви и надежды бесконечной, и тут вырастает он и дремлет, убаюкиваемый сладкими снами! Под кровом родительским приют наш и наша ограда; тут отец — и пророк, и священник, и царь наш, и в послушании находим мы свободу. Юный дух только что возник из вечности и не знает еще того, что зовется у нас *временем*: время для него покуда не поток быстро текущий, а веселый, ярко блестящий на солнце океан; годы — что века для ребенка, — ему еще неведомы тайны горькой заботы, тайны то быстрого, то медленного стремления несущейся куда-то вселенной, — и вот, в этом неподвижно пребывающем мире вкушает он то, чего навеки лишены мы в кипучем водовороте нашего мира, — вкушает сладость — *покою*. Спи, почивай покуда, милое дитя! — впереди, и уже недалеко, ждет тебя долгий и тяжкий путь твой. Еще немного, — и сон твой кончится, — и самые лучшие сны твои станут отражением жизненной борьбы, и по-

нятно будет тебе слово мудреца: «Какой покой! Будет еще целая вечность — покоиться».

Небесный нектар сладкого забвения! Пирр может покорить вселенную, Александр — разорить целый мир, — и они тебя не добудут; — но вот ты, сам собою, тихо сходишь на уста и на очи и на сердце всякого младенца, сына своей матери. И сон и пробуждение для него — едино! Прекрасный Эдем⁶⁹ жизни убаюкивает его, не переставая, шелестом своих листьев, и вокруг него всюду аромат росы небесной и роскошный цвет надежды...

II

Простое правило жизни

Убеждение, какое бы ни было чистое и возвышенное, ничего не значит, если не обращается в жизнь самым делом. И до тех пор нельзя даже признать действительность убеждения, ибо одно рассудочное мнение — по природе своей — безгранично, бесформенно, пучина посреди множества пучин: одна лишь несомненная достоверность опыта приводит его сознательно к средоточию, около коего обращаясь, образуется оно в систему. Есть истинное слово мудреца: «Всякое сомнение одним только устраняется — *действием*». Итак, если кто изнывает болезненно в тусклом мерцании неверного света и молит из глубины душевной о том, чтобы свет дневной озарил его из потемок, пусть примет к сердцу другое, бесценное и спасительное правило: «делай дело, которое всего тебе ближе и в котором самый ближний *долг* твой». Делай его — за ним объявится другой, последующий долг, и все станет ясно.

III

Воспитание

Какие бы ни были училища и семинарии для образования людей к деятельности, какие бы ни были курсы учительства, проповедничества, миссионерства, для всего одно правило: — приучать молодые души, чтобы умели приказывать и умели повиноваться. Мудрость приказания, мудрость послушания, способность к тому и другому, — вот истинная верная мера культуры и доблести человеческой, — для каждого, кто бы он ни был: всякое добро — в обладании этими обоими качествами; всякое зло, всякая неудача и пагуба в отсутствии этих качеств. Кто умеет приказывать и повиноваться, — тот годный человек; кто

не умеет, тот негодный. Если наши учителя, наши проповедники в своих семинариях, академиях, соборах, воспитывают людей для этих качеств, верно будет их слово, право и действительно; если нет, — то нет в нем правды.

IV Дело

Смотри и вдумывайся, какое дело ты, ты именно, можешь делать: первая задача для каждого человека — найти для себя, какое дело может он делать в этом мире.

Для этого самого рождается всякий человек — и сегодня, и во все времена. Он рождается для того, чтобы всю силу, какую дал ему Всевышний Бог, употребить на то дело, на которое он способен: стоять на нем до последнего издыхания и делать его как можно лучше. Все мы к этому призваны — и за то всем нам верная награда, если заслужим, — награда в том, что мы сделали свое дело или, по крайней мере, всячески старались сделать. Это — само по себе великое благо, и можно сказать, лучшей награды нечего нам ждать на этом свете. «Имуще пищу и одеяние, сими довольны будем», а затем, не все ли равно, что ты издержал на это, — семьдесят ли тысяч, семь ли миллионов или семь сот! В сущности, для мудрой души разница не велика.

Главное счастье, какого может желать себе мудрый человек, — счастье иметь дело на руках и сделать его. «Нечего есть», — плачет человек, но первый плач его такой: «нечего делать». Несчастье человеку в том, что делать не может, не может совершить судьбу свою человеческую. Быстро пролетает день, быстро жизнь пролетает — ночь подходит, ночь, *в нюже никтоже может делати*.

Что ты делал, человек, как ты делал? Счастье твое, несчастье твое, — ведь это было твое жалованье, — и все его ты истратил на житее свое — ни копейки не осталось. А дело-то, дело? Где оно у тебя?

И когда бы не был человек таким голодным скитальцем, — не стал бы плакаться на свое жалованье, плакался бы скорее на себя, что он сделал с своим жалованьем.

V Религия

Церковный обряд — это одежда, форма, в которой люди в разные времена воплощали для себя *религиозное начало*, выражали *идею Божественного* в мире, облакая ее в живое и действительное тело, чтобы она могла обитать между нами, облакая *словом*, живым и животворящим.

И выразить нельзя, что значит для человечества *это одеяние* жизни, важнее и необходимее всех одежд и украшений жизни человеческой. Соткано и сработано оно — *обществом*: только там, где «собраны двое или трое», только там религия, таящаяся в духе, неистребимо, у каждого, является во внешнем выражении и стремится воплотить себя в видимом общении воинствующей церкви. Тайнственно и чудодейственно это общение одной души с другою, — в стремлении к небу: только в этом стремлении, а не в стремлении книзу, к земле, становится союз взаимной любви, образуется общество. Взглянет человек в лицо брату, встретит взгляд его — ласковый, приветливый, любовный — или распаленный гневом и ненавистью, — и вот душа, дотоле спокойная, невольно сама загорается тем же огнем, и отражаясь от одного к другому, огонь вырастает в беспредельное пламя — либо пылкой любви, либо смертельной ненависти: вот какая чудесная сила течет от человека к человеку. И если так действует эта сила на тесных путях земной нашей жизни, — каково должно быть ее действие в стремлениях к жизни небесной, когда одна душа входит в общение с другою душою в самой глубине своего внутреннего я.

ГЛАДСТОН ОБ ОСНОВАХ ВЕРЫ И НЕВЕРИЯ (The Impregnable of Holy Scripture)

Неверие ссылается на заблуждение, на невнимательность в людях верующих: правда, — и это служит тяжким затруднением к укреплению веры.

Когда, увлекаясь идеей о благодати и милости Божией, мы забываем неизменную Его правду и правосудие; когда, прославляя несказанное Его милосердие в оставлении грехов, опускаем то, что состоит в неразрывной связи с прощением — глубокое проникающее действие его на прощенную душу, — то этим уже одним мы создаем для всей системы христианского учения опасности — больше тех, какие создаются его врагами. Но еще того

хуже. Еще хуже, когда верующий во Христа держит Его учение, не думая осуществлять его в своей жизни; — а хуже всего, если, держась учения, он не только увлекается в обыкновенные слабости или излишества человеческой природы, но презирает или пренебрегает такие основные начала естественной нравственности, против коих самый порок редко осмеливается спорить. Учреждение семейного союза, нравственная связь между членами семьи, природа мужчины и женщины, отношение каждого человека к душе своей, которая вверена ему Богом, чтобы познавал ее, чтит ее, очищал и святит ее: все это установлено законами самыми древними, самыми коренными, самыми священными. Всякий прогресс поверяется и испытывается сообразностью с этими нерушимыми, хотя и неписанными, уставами: по этой мере можем распознать, действительный ли это прогресс или обманчивый, ложный, и самое христианство не было бы христианством, если бы способно было колебать эти священные уставы.

Переходим к отрицателям веры. Отрицание признает своим источником исключительно — *разум*; это верно лишь отчасти. Говорят, например, о причинах неверия, что такие догматы, как троичность, воплощение, таинства, Страшный Суд, — оказываются положительно невыносимы для просвещенной мысли современного человечества. Меня же все приводит к убеждению, что главная причина, содействовавшая возрастанию в наше время отрицательных учений, — не интеллектуальная, а нравственная, и что ее следует искать в возрастающем преобладании материального и чувственного над сверхчувственным и духовным.

Пожалуй, такому мнению могут приписать ненавистный характер, назвать его фарисейством, в худшем значении этого слова; могут истолковать его в таком смысле, будто от силы и твердости догматических положений зависит у каждого отдельного лица и возвышенность нравственного характера. Такое мнение было бы совсем неверно и противоречило бы ежедневному опыту жизни. Я имею в виду совсем иное. Я говорю о том, что относится не до того или другого человека в отдельности, но до всех нас. Мы совершенно изменили меру нужд и потребностей; мы установили для себя новые социальные предания, предания, которые бессознательно образуются и руководствуют нас, независимо от предварительного сознания и выбора. Мы создали новую атмосферу, которую дышим, так что действием ее и входящих в нее элементов бессознательно преобразуется весь наш состав. Это не значит, что нас создает окружающая среда, так как в нас есть сила рассуждения и размышления. Но этою силой

мы мало пользуемся, мало приводим ее в действие, так что окружающая нас атмосфера, данная мера жизни, воспринимается нами естественно, без рассуждения: с этим запасом каждый из нас предпринимает свое странствование в мире, и он руководствует жизнь нашу, за исключением редких случаев, когда — гнусный вид порока, с одной стороны, или вид христианского подвига, с другой стороны, побуждают нас избрать для себя особливую меру жизни и деятельности. Но и то, и другое совершается в кругу принятого мнения, так что одно мешается с другим, и, глядя на людей в образе жизни их и поведения, приходится видеть людей высокой добродетели с малою верой и людей крепкой веры, но плохой добродетели. Так, в сфере общественного мнения может казаться, что и свобода, и правда одинаково сходятся и с право верующими, и с неверными.

Главная причина этой поразительной, даже страшной несообразности заключается, без сомнения, в том, что к каждому из нас лично вера пришла не путем борьбы, жертвы, крепкого убеждения, — но пришла, как все почти, что мы имеем, легким способом, — по рождению и наследству, через других, а не от себя самих, — как дело естественное, а не как дело выбора и усилия, — так что и сидит оно на нас, как внешняя одежда, а не пронизывает нас, как начало и сила действенная.

Но, с другой стороны, неоспоримо верно, что господственное предание в атмосфере нашей есть предание христианское. Им одним соделано возможным то, что без него осталось бы недостижимым. Оно одно, это предание, тихо и неощутительно вносит во многие души и характеры, не только у верующих, но и у неверующих людей, идеи о добродетели, самоотвержении и филантропии, вместе с силой сообразного действия. Многие люди, не отрицающие христианской веры, не знают сами, где, когда и как научились они ее держаться; точно так же многие, отступившие от христианской веры, не сознают, что самое высокое в мысли их, в духовной природе и в действии — плод христианства. Что значит новоизобретенное слово *альтруизм*? По своему значению — это просто вторая заповедь христианского закона: «подобная первой». По форме — это маска, прикрывающая мысль заимствованную, так что иные и не догадаются, где ее истинный источник. И совершается этот подлог не с пониманием, а бессознательно*. В нашем достоянии — кодекс христи-

* Кстати при этом заметить, что у нас, по привычке орудовать новыми иностранными словами, вошло уже в неразумное употребление и это слово «альтруизм», и ставится как попало, даже в применении к любви христианской. При водворившейся распущенности слова

анской нравственности, коим постепенно прониклись наши учреждения и обычаи, и он так слился с обычной нашею жизнью, что затмилась самая память о божественном его происхождении, как будто это законное наследие, утвержденное за нами давностью. Мы поймем, что сделало для нас христианское предание, когда присмотримся к нравственному кодексу у тех народов, кои не имели этого предания. Стоит указать на пример Греков в пятом столетии до Р. Х. или Римлян в эпоху Р. Х.: у тех и у других увидим поразительный упадок нравственности, хотя в то же время поражает нас блестящее интеллектуальное развитие у одних, а у других превосходство организаторского политического гения.

В наш век мы видим перед собою усилившееся господство видимых вещей и, по мере того, умаляющееся значение вещей невидимых. В течение всей истории человечества невидимое и, неразлучное с ним, сознание будущей жизни было в постоянном состязании с вещами видимого мира.

Текущая половина нынешнего столетия резко отличается от всех прошедших веков исторической жизни человечества, в двух отношениях: никогда не бывало такого размножения богатства и вместе с тем размножения наслаждений, богатством доставляемых: то и другое — явления отдельные, но совместные и нравственно между собою связанные... Очевидно, до математической достоверности, что усилившееся действие всякой мирской прелести расстраивает равновесие бытия нашего, доколе не будет уравновешено усиленным действием духовных влечений и стремлений. Откуда же возьмутся эти духовные силы? Страшно признаться, что в тех сферах, которые доступны нашему взору, не видно такого приращения духовных идей и побуждений, которые могли бы служить перевесом усиливающимся мирским похотям и стремлениям. А когда мир невидимый и сродные с ним идеи утрачивают свою притягательную силу, — то вместе с сим и непременно, и верования, принадлежащие к этой сфере невидимых соотношений, тускнеют, и привлекательная сила их ослабляется. Материализм как положительная система, не думаю, чтобы приобрел господственное значение; эта система, по своей

думают этим термином и молодые духовные писатели, что уже совсем непростительно. Его почерпают из чтения новых философских сочинений (Спенсер и т. п.), переведенных на русский язык, но нельзя забывать, из какого источника происходит и с какою системой мышления связан этот термин, совсем неприложимый к понятию о любви христианской.

конструкции, лишена, по мнению моему, той интеллектуальной силы, какая нужна для цельного учения. Но совсем иное дело — безмолвное, тайное, бессознательное действие материализма: сила его громадная. Помнится, Макс Миллер сказал, что без языка невозможно мышление, — и это верно в отношении ко всякому мышлению, организованному и сознательному. Но в природе человеческой таится множество неразвитых, зачаточных сил, впечатлений, извне воспринимаемых и падающих на сродную почву внутри: все это никогда не вырастает до зрелости, не выливается в членораздельную речь и не получает определенного вида в нашем сознании.

И вот, я думаю, что в настоящую минуту эти не высказанные и не испытанные движения — не столько ума, сколько похоти, или, если легче выразиться, наклонности, все эти — не мысли, а обрывки мыслей, — действуют около нас и в нас; и если бы можно было перевести их на язык и выразить в слове, они сложились бы в известное, издревле во всех веках бывшее, вульгарное представление о том, что — в конце концов — видимый мир есть одно, что мы известно знаем, и что всякое дело, стоящее труда, всякая забота, стоящая попечения, всякая радость, имеющая цену в этом мире, — в нем начинаются и с ним же для нас кончаются... Мы знаем, как сильны низшие наклонности человеческой природы и совершенно естественно, что кому улыбается мирская жизнь, у того слишком часто наряду с возрастающим тяготением к земному центру, незаметно поражаются бессилием стремления к внутренней жизни. И понятно, что при этом поражении духовных стремлений в душе легче и удобнее выражается все то, чем подрывается авторитет слова Божия или великих христианских преданий, все то, чем, в разных путях, отстраняется, ослепляется ощущение присутствия Божия, заглушаются упреки внутреннего голоса совести. Итак, напрасно искать корень зла в науке, действительной или мнимой, даже в заблуждениях и неверностях верующих людей, на которые неправо ссылается неверие. Нет, не то: возрастающая в нас сила чувственных и мирских влечений и побуждений, — вот что дает невидимого союзника всякому аргументу сомнения и неверия, чего бы он в существе не стоил; вот что приобретает массу учеников отрицательным учениям. Человек воображает, что, давая волю сомнению, он следует изысканию истины, а в сущности он только мирволит низшим наклонностям своей природы; им уже овладели они, а он еще усиливает их, допуская новых им союзников без всякой проверки титула их и права. Идеи, в основании своем слабые, подталкиваются наклонностью, которая непременно силь-

на. Итак, в душе зачинается будто тайный заговор, и выезжают в ней на бой два витязя, один с открытым лицом, а другой с опущенным забралом.

Христианская вера порождает христианское предание, образуя идеи и образ жизни и поведения. Люди не отрицают самые правила этого предания — отрицают лишь источник происхождения правил. Является сначала великий мыслитель, человек высокой нравственности: он благочестив и проповедует благочестие, — но не признает догмата. Другой деятель, следующий за ним, идет на том же поле еще далее, — восхваляет нравственность, отвергая благочестие. А противу-нравственная, противу-духовная сила, во всех нас скрытно-действующая, обольщает видом добра, под коим таится начало разрушения — помогает относиться снисходительно к новой проповеди и даже петь хвалу ей хором. Аргумент скептической мысли в действительности не что иное, как прививок, получивший жизнь и силу от мощного и крепкого дерева, к которому привит.

Итак, по моему мнению, несомненно, что главную причиной, почему скептицизм в наше время получил такое распространение и такую силу, служит чрезвычайное развитие мирских сил и побуждений внутри нас и в среде нашей. Но это относится не столько к офицерам и солдатам армии, к людям, серьезною работою мысли исследующим предметы, над коими сами они тяжко задумываются, — сколько к массе, которая без труда присоединяется к хору последователей новых учений. Мнения свои человек отчасти составляет сам и отчасти заимствует из окружающей среды. Мыслящий человек сам в себе их вырабатывает, — хотя и на него действуют скрытые влияния, бессознательно; немыслящий черпает их из окружающей среды, или вполне или большею частью. А среда, — как всякому известно, — вмещает в себе идолов, образы, тени и привидения преходящего дня.

Но я должен оговориться. Мои замечания имеют в виду особенное и, может быть, беспримерное донныне состояние, в коем множество людей подвергают сомнению основания нашей веры и авторитет священных книг наших, не испытывая ни благовременности столь серьезного дела, ни своей к нему способности. Во всех других предметах требуется, чтобы человек имел знание или показал бы его, но в делах веры ничего того не требуется, а всякий предполагается знающим.

Христианская вера воспринимается сердечным сочувствием и согласием: сердцем веруется. С другой стороны, всякий человек, в каком бы ни был положении, основывает, разумно, даже

необходимо основывает действия и события своей жизни, главным образом, на вере; без сомнения на свободной и разумной, но все-таки на *вере*; — иногда на преданиях рода своего и племени. Всякий, кто занимает ответственное положение в этом мире, большое или малое, сознательно или бессознательно, действуя за себя, в то же время действует для других; для других и вместо других приобретает и испытывает убеждения, поверяет материальные факты, имеющие значения для человеческой жизни, — такие убеждения и представления, которые не всякий человек, по условиям своей жизни, может установить и испытать самолично. Лучше, конечно, если б каждый мог это исполнить для себя, самостоятельно, — но не у всякого есть для этого и случай, и способность. А где того и другого нет, — что слишком часто случается, — там не следует человеку обманывать себя, будто он с чужих слов приобрел себе свое убеждение.

Но не подлежит сомнению, что в наше время, едва ли не больше, чем прежде, множество мужчин и женщин, безо всякой способности и безо всякой для себя нужды, подвергают сомнению веру, которой по старому преданию держались. Для некоторых из нас, по расположению и образованию ума, по свойству звания, по роду занятий, представляется и разумным, и даже необходимым, — подвергать исследованию великое историческое откровение, в исторической обстановке и в его отношении к характеру и состоянию человека. Этот процесс исследования сам по себе — дело прямое и законное; и мы знаем, что действие его в течение многих веков на великие умы приводило вообще к положительным результатам и в конце концов еще усиливало авторитет Священного Писания.

Однако, в применении к массе людской, разум удостоверяет нас, что всякому человеку свойственно держаться предания и предполагать его истинным, покуда нет серьезного основания усомниться в нем. Таково правило здравого смысла, принятое в обыкновенной жизни. В предметах предания не вера, а сомнение должно было бы во всяком случае становиться в защиту и предъявлять свои документы, — хотя бы не в смысле доказательства, а лишь в смысле разумного вероятия. Но испытанное сомнение, которому так часто удается свить гнездо в умах наших, — есть владелец без документа, опасный и незаконный гость. Незаметно и помимо всякого опроса, он вдруг вступает в роль доказанного отрицания, обессиливает в нас действие, наводит тень на чувство долга и на сознание присутствия Божия во всех путях наших, ослабляет пульс нашего нравственного здоровья. Сомнение может освободить или может поработить нас;

но оно должно быть непременно или другом, или врагом нашим: нейтральным оно быть не может. Те сомнения, коих испытать нельзя, если дать им место, отражаются и на вере нашей, и на поведении. А исследования недостаточные, мнимые, служат лишь новым искушением на пути долга; если уже предпринимать исследование действительное, то оно должно стать для нас священным долгом. Мнимое исследование есть одно лишь обольщение; под предлогом его мы становимся жертвою предрассудка, моды, склонности, похоти, лукавых внушений мирского духа, всяческих многообразных искушений. Каждый человек призван установить меру своего поведения в своей сфере: задача высокая, но и трудная, столь трудная, что никто не может выполнить ее в совершенстве. Долг не обязывает нас делать выводы и заключения о судьбах мира, о свободе воли, — тем менее еще погружаться за этими пределами в глубину и во мрак размышлений, которые все сводятся к одной непроницаемой проблеме о существовании и о действии *зла* в здешнем мире. Вера христианская и Священное Писание вооружают нас средствами пересиливать и отражать приступы зла извне и внутри нас. Вот единственное практическое решение задачи. Пусть окутана туманом вся страна, окружающая нас, но нашу дорожку можем мы разобрать час за часом, день за днем, шаг за шагом. Умозрительное рассуждение, если оно бесцельно, становится самочинно, возвышаясь над предметом умозрения; а самочинное, гордое умозрение о делах, о промыслениях Божиих, для людей, верующих в Бога, есть само по себе грех. Оставить лежащий на каждом из нас долг управлять собой и своим поведением, обращая работу ума и сердца на такие предметы, которые для нас обязательны, лишь поколику могут быть нужны для особого дела нашего и призвания, — значит, в нравственном смысле, убежать от сытости в голод. Похоже на то, как если бы кто, владея лишь разбитою посудиною, собирался накормить и напоить из нее всех своих соседей.

Но если признать, что никто легкомысленно, не имея ни способности, ни духовной нужды, не должен вступать в исследование веры, и что во всяком исследовании такое сомнение не имеет права требовать доказательств от самой веры, — надобно вместе с тем помнить, что всякое религиозное исследование, хотя оно и возбуждает взаимные пререкания, нельзя сравнивать с процессом между равноправными сторонами тяжущихся или с битвою двух полководцев за спорную территорию. Спаситель наш Христос возбудил в народе удивление тем, что, оставляя в стороне все хитросплетения и наросты учений, омрачавшие образ веры,

учил народ «яко власть имей, а не яко книжники и фарисеи», — учил со властью, то есть имея право повелительное и силу повелительную. Когда Бог даровал нам откровение воли Своей — и в законах природы нашей, и в царстве благодати, это откровение не только просвещает нас, но и повелительно обязывает. Справедливо и необходимо, что, подобно верительной грамоте земного посланника, и верительная грамота этого откровения должна быть испытана. Но если, быв испытана, она оказывается подлинною, или эта подлинность подтверждается такими же доказательствами, какие в обыкновенных обстоятельствах жизни обязательно принимает наш разум, — тогда нельзя уже нам считать себя самостоятельными судьями, погруженными в вольное исследование; тогда уже мы — служители Владыки, ученики Учителя, дети Отца, и каждый из нас связан узами этих отношений. Тогда уже и глава и колена должны преклониться пред Вечным Богом, и человек должен обнять Божественную волю и следовать ей всем сердцем, всем помышлением, всей душой и всею кротостию своею.

ДЕЛА И ДНИ

(Emerson, Society and Solitude)

Наш девятнадцатый век — век орудий. Их производит из себя наша организация. «Человек — мера всех вещей, — говорит Аристотель, — рука — инструмент всех инструментов, а разум — форма всех форм». Тело человеческое — магазин изобретений, кладовая образцов, с которых сняты всевозможные механизмы, какие только придуманы. Все орудия и машины не что иное, как распространение членов и ощущений этого тела. Человека можно определить так: «разум со служебными органами». Машина помогает природному ощущению, но не может заменить его. Вся мера — в теле. Глаз ощущает такие оттенки, которые не в силах уловить искусство. Ученик не расстаётся с аршином, но опытный мастер меряет без ошибки пальцем и локтем, опытный нарядчик отмеряет шагами аккуратнее, чем иной — веревкой и цепью. Степной индеец, бросая камень из пращи, знает, что попадет как раз в точку: в таком сочувствии глаз у него с рукою; плотник рубит бревно свое по начерченной линии, ни на волос не отступая. Нет чувства, нет органа, который нельзя было бы довести до самого тонкого совершенства в деле.

Дивиться — любимое ощущение человека, и в этом чувстве семя нашей науки. Таково механическое направление нашего

века, и так еще свежи лучшие наши изобретения, что радость и гордость от них еще не износились в нас, и мы готовы жалеть отцов своих, что они не дожили до пара и до гальванизма, до серного эфира и до морских телеграфов, до фотографий и спектроскопа, — как будто они беднее нас на половину жизни. И кажется нам, что эти новые художества открывают нам настежь двери в будущее, обещают одухотворить формою весь материальный мир и возвести жизнь человеческую из нищенства ее в богоподобное состояние довольства и силы.

Правда, и нашему веку достался нескучный запас в наследство. Был уже компас, был типографский станок, были часы, спиральные пружины, барометры, телескопы. Но с тех пор прибавилось столько изобретений, что вся жизнь как будто переделана заново. Лейбниц сказал о Ньюtone: «если счесть все, что сделано математиками с начала мира до Ньютона, и все, что сделано Ньютоном, последняя половина превзойдет первую»: так можно сказать, что сумма изобретений за последние 50 лет поравняется с итогом остальных 50 столетий. Новость для нас — безмерное усиление производства железа и крайнее разнообразие железного изделия; новость — множество самых употребительных и необходимых орудий для дома и для сельского хозяйства; швейная машина, ткацкий станок, жатвенная машина Мак-кормика, косильная машина, газовое освещение, фосфорные спички, бесчисленные произведения химической лаборатории, — все это новости нынешнего столетия, и порция угля ценою на один франк заменяет нам двадцатидневный труд прежнего работника.

Нужно ли поминать о паре, пожирателе пространства и времени, о громадной и тонкой силе, которая в больнице приносит чашку с супом к самой постели больного, гнет и плющит как воск толстые железные брусья, и мерится с силами, поднявшими и выворотившими геологические слои нашей планеты. Чему хочешь, он выучится, как способный мальчик, что хочешь поднимет на рабочие плечи; но он еще далеко не совершил всего своего дела. Он уже ходит по полю, как человек, и работает всякую работу; поливает нашу ниву, срывает нам горы, где нужно. Но он будет еще шить нам рубашки, будет возить телеги и коляски наши; Беббидж принялся уже учить его счету, и научит когда-нибудь вычислять проценты и логарифмы. Лорд канцлер Тюрло надеется, что он когда-нибудь станет составлять исковые бумаги и возражения для канцелярского суда. Положим, что это сатира, но и сатира будет недалеко от действительности, судя по начальным попыткам применить пар к механическим действиям, соединенным с умственным расчетом.

Сколько чудных механических применений изобретено для тела человеческого: для зубных операций, для прививания оспы, для ринопластики, для усыпления нервов тонким сном нового изобретения. Наши инженеры, с помощью громадных машин подобно кобольдам и волшебникам, сверлят Альпы, роют насквозь Американский перешеек, прорезывают пустыню Аравийскую. В Массачусете мы побеждаем море, укрепляя зыбкий берег простым травяным растением, укрепили песчаную пустыню — сосною плантацией. Почва Голландии, — самого населенного когда-то края в Европе, — ниже морского уровня. Египет не знал, что такое дождь, в течение трех тысяч лет: теперь, говорят, там бывают ливни, благодаря оросительным каналам и лесным плантациям. Древний царь еврейский сказал: «восхвалит Бога и ярость человечества». И в числе доказательств единобожия самое сильное — это громадность результатов, достигаемых самыми обыкновенными делами и средствами.

Кажется, нет и пределов новым откровениям того же духа, который некогда создал стихийные элементы, а ныне, посредством человека, разрабатывает их. Искусство и сила и впредь не перестанут действовать, как действовали донныне, — ночь превращать в день, пространство во время и время в пространство.

От одного изобретения рождается другое. Едва обозначился в уме электрический телеграф, как открылся и материал, необходимый для него, — гутта-перча. С усилением торгового движения — открыты новые запасы золота в Калифорнии и в Австралии. Когда Европа переполнилась населением, — открылся запрос на него в Америке и в Австралии; и так, где ни случается неожиданное явление, оно приходится ко времени, как будто природа, устроив повсюду замки, ко всякому замку устроила и ключ, который сама помогает отыскать, когда нужно.

Вот еще следствие изобретений: — умножение отношений между людьми. Оно изумляет нас, открывая новые пути к решению трудных и запутанных политических вопросов. Отношения эти — не новость: только размеры их новые. Сами по себе, мы по чувству эгоизма ухватились бы за рабство, готовы были бы замкнуть четвертую часть земного шара ото всех, кто вне ее, на чужой почве родился. Наша политика отвратительна; но чему в силах она помочь, чему может помешать в такую пору, когда первородные инстинкты двигают массами рода человеческого, когда целые народы движутся приливом и отливом? Природа любит скрещивать расы: — германец, китаец, турок, русский, индеец — все стремятся к морю, все женятся между собой и посягают; коммерция приходит в движение — и море кишит

кораблями, которые готовы перевезть с берега на берег целые населения.

Тысячерукое искусство вошло новым элементом и в жизнь государства. Наука власти волею или неволей вынуждена признать власть науки. Цивилизация восходит, карабкается — выше и выше. Когда Мальтус выводил, что число желудков умножится в геометрической, а количество пищи — лишь в арифметической прогрессии, — он забыл прибавить, что разум человеческий — тоже один из факторов в политической экономии, и что с умножением в обществе нужд умножатся и силы изобретения.

Для потребностей общественного быта у нас есть уже значительная артиллерия всяческих орудий. Мы ездим вчетверо быстрее, чем ездили отцы наши. Много лучше их путешествуем, мелем, вяжем, куем, сажаем, возделываем и копаем. У нас совсем новые сапоги, перчатки, стаканы, инструменты; у нас есть счетная машина; у нас — газета, и посредством газеты каждая деревня может составить доклад о себе и поднести его нам за завтраком. У нас деньги и кредитный банк; у нас — язык, тончайшее из всех орудий, и самое близкое душе. Много, — и чем больше есть, тем больше требуется. Человек льстит себя, что власть его над природою еще возрастет и умножится. События начинают повиноваться ему. Нас ожидает еще — воздухоплавание, и, может быть, недалеко нам до войны, которая разыграется на воздухе. Немудрено, что мы изобретем такую воду, от которой негр разом станет белым. Он уже видит, как меняется головной тип англо-саксонской расы под влиянием условий американской жизни.

В старину видели Тантала, как он, стоя на самой глубине, напрасно пытался утолить жажду свою текучею струею, которая убегала, лишь только он наклонялся к ней. Старик Тантал, говорят, недавно опять появился в мире. Его видели в Париже, в Нью-Йорке, в Бостоне. Он весел, уверен в себе: думает, что ему скоро удастся поймать струю, даже наполнить ею бутылку. Но, кажется, уверенность его напрасная. Обстоятельства — все еще мрачного вида. Сколько ни прошло столетий непрерывной культуры, — новый человек все-таки стоит на самом рубеже хаоса, все-таки не выходит из кризиса. У кого на памяти такая пора, когда бы не жаловались, что денег нет, что время тяжелое? У кого на памяти такое время, когда довольно было добрых людей, разумных людей, и таких мужчин и таких женщин, каких было нужно? Тантал начинает думать, что пар — есть фантазия, и что гальванизм — не больше того, чем по природе служит.

Многое уже заставляет задумываться, многое наводит на мысль, что благо наше лежит где-то в глубине, что его не сыщешь — ни в паре, в фотографии, в воздушном шаре, в астрономии. Все это орудия сомнительного качества. Все это — реактивы. Множество машин имеет угрожающий вид. Ткач сам превращается в ткань, механик — в машину. Кто сам не владеет орудием, того берет во власть орудие. Все орудия — с обточенным острием, и стало быть, опасны. Человек строит себе прекрасный дом: и вот является у него владыка, приходит работа на всю жизнь, и он должен устраивать дом свой, беречь его, показывать, поддерживать и починивать — до последнего своего издыхания. Человек создал себе репутацию: он уже не свободен, он должен беречь свое сокровище, уважать его. Человек написал картину, издал книгу: и чем больше успеха имело творение, тем хуже от того иной раз творцу. Я знал одного доброго человека: он жил вольно, как птица небесная, как зверь лесной; но раз ему вздумалось украсить кабинет свой нарядными полками для коллекции раковин, яиц, минералов и чучел. Это была забава, но чем забавлялся он в сущности? Тем, что устраивал изящные цепи и оковы для своих же членов.

Задумывается и ученый экономист. «Сомнительно, — все, какие только есть механические изобретения, облегчили труд дневной хоть одному человеку?». Машина развинчивает, разделяет человека. Машина доведена до высшего совершенства, а кто механик при ней? никто. Всякое новое усовершенствование в машине сокращает механика в его деятельности, разучивает его. Бывало, машина требовала для себя Архимеда; нынче для нее довольно мальчика, лишь бы он знал нужные приемы, умел двинуть рукоятку, смотреть за котлом; но когда испортится машина, он не знает, что с нею делать.

Посмотрите на газеты: они наполнены каждый день ужасными подробностями. Прежние издания, вроде «календаря нью-гетской тюрьмы»⁷⁰, стали не нужны с тех пор, как в лондонском «Таймсе», в нью-йоркской «Трибуне» появляются свежие рассказы о преступлениях, гораздо еще ярче, гораздо ужаснее.

В политике — разве бывало когда больше, чем у нас, своекорыстия, разврата, насилия? А торговля, это любимое дитя океана, гордость его и слава, эта воспитательница народов, эта благодетельница поневоле и вопреки себе, торговля наша кончается во всем мире постыдною несостоятельностью, надувательным предприятием и банкротством.

Мы перечисляем всякие искусства, всякие изобретения человеческие, как мерило достоинству человека. Но когда, при всех

своих искусствах и знаниях, он оказывается лукав и преступен, явно, что механическое искусство со всеми своими изобретениями не может служить ему мерилом достоинства. Поищем, нет ли другой мерки.

Что прибыло от этих искусств и знаний — характеру и достоинству рода человеческого? Стало ли лучше человечество? Многие спрашивают с недоумением, не понижалась ли нравственность, по мере того, как возвышалось искусство? Мы видим, с одной стороны, великие искусства и знания с маленькими людьми, с другой стороны, видим, как из низости вырастает величие. Видим торжество цивилизации и радуемся, но нам указывают такую благодетельную руку, которую душа не хочет признать. Самый главный фактор преуспевания в мире — это торговля, сила личного эгоизма и мелкого расчета. Казалось бы, всякая победа над материей должна возвышать достоинство природы человеческой в сознании человека. А нам, когда смотрим на свое богатство, приходится удивляться, откуда взялось оно и кто его виновник. Посмотрите на изобретателей. У каждого из них есть свой фокус, в котором он силен. Гений бьется в известной жилке, пробивается в известном месте; но где найдешь великий, ровный, симметричный ум, питаемый великим сердцем? У всякого больше есть что притаить в себе, нежели что выказать, всякого заставляет хромать свое совершенство. Слишком заметно, что от материальной силы отстало нравственное преуспевание. По всему видно, что мы поместили капитал свой не совсем расчетливо. Нам предложены были *дела* и *дни* на выбор: мы выбрали *дела*.

Новейшие исследования санскритского языка раскрыли нам происхождение древних названий Божества — *Dyaueus, Deus, Zeus, Zeu pater, Jupiter*, все имена солнечные. В них еще слышится, сквозь новую одежду ежедневного наречия, слово: *День (Day)*. Не значит ли это, что *день* — для нас явление Божественной силы? Что люди древнего мира, пытаясь выразить речью верховную силу вселенной, дали ей имя: *день*, и что это название все племена приняли?

Гесиод написал поэму и назвал ее: *Дела и дни*. В ней поэт описывает времена греческого года, учит хозяина, когда, под каким созвездием следует сеять, когда начинать жатву, когда рубить лес, в какой счастливый час плователю пускаться в море, чтоб избежать бури, и за какими небесными планетами следовать. Поэма наполнена хозяйственными наставлениями для греческой жизни: в ней указан возраст для брака; в ней есть правила для домашней экономии, для гостеприимства. Поэма эта

дышит благочестием и исполнена разума житейского: она приложена ко всем меридианам, потому что и дела и дни поэт представляет в нравственном их значении. Но *наука дней* не глубоко им разработана, хотя это очень глубокая наука.

Крестьянин, работая на поле своем, говорил: хорошо, когда бы моя была вся земля, какая примыкает к моему полю. Такие же склонности были у Бонапарта: он хотел сделать Средиземное море французским озером. Говорят, один владыка земной простирал еще дальше свои планы, и весь Тихий океан хотел назвать *своим океаном*. Но хотя бы и удалось ему, хотя бы он всю землю мог взять в удел себе и океан счесть за свое озеро, — все-таки он был бы нищим. Тот лишь один богат, *кто владеет днем своим*. Вот сила; нет на свете ни царя, ни богача, ни чародея, ни демона, кто б имел такую силу. Дни для нас — те же сосуды Божества, как и для прародителей наших, арийцев. Из всего сущего — они всего менее обещают, а вмещают — всего более. Они приходят безмолвно и торжественно, точно видение образа, с ног до головы закрытого покрывалом, точно немые посланники, с даром из дальнего приятного края; и так же безмолвно удаляются, унося с собою дары свои, если мы не берем их и ими не пользуемся.

Как приходится день по душе, как обвивается вокруг нее точно тонкое покрывало, как одевает все ее фантазии! Всякий праздничный день окрашивает нас своим цветом. Мы носим его кокарду, всякий привет его отражается на нашем душевном расположении. Вспомним свое детство: что у нас было в душе праздничным утром, например, в день национальной годовщины, в день Рождества Христова? Несемся, бежим, и кажется, самые звезды с неба мигают нам об орехах и пряниках, о конфетах, подарках и потешных огнях. Помните, как в ту пору жизнь считалась по календарю минутами, сосредоточивалась в узлы нервной силы, в часы радужного блаженства, а не разливалась ровным и гладким потоком счастья. В уединении и в деревне — каким торжеством дышит праздничный день! Встает из бездны времен священный час праздника, древняя суббота, седьмой день, убеленный тысячелетиями религиозных верований, раскрывается чистая страница, которую мудрец испишет словами истины, дикий исцарапает фигурами своих фетишей, — и мы слышим, в уединении своем, вселенский псалом, соборный хор всей истории человеческого рода.

И как сходится погода с душевным расположением в молодости! Ветер, меняясь, меняет свою ноту на тысячи ладов, меняет тысячу раз картины, которые несет воображению, и всякий

новый лад его — новая оболочка, новое жилище для духа. Бывало, я умел выбирать настоящую пору для каждой из любимых книг своих. Один писатель приходится всего лучше к зимнему времени, другой — к летним каникулам. Есть книги (напр., Платонов Тимей), для которых ждешь, долго ждешь настоящего часа. Наконец приходит желанное утро, занимается заря, на небе является мерцание света, как будто в первую минуту мироздания и в начале бытия: и вот, в этот час простора смело рываешь книгу...

В иные дни к нам подходят великие люди, близко-близко; на лице у них ни малейшей суровости, ни малейшего снисхождения; они нам ровные, берут нас за руку, говорят с нами, и мы с ними беседуем. В иные дни мы чувствуем, что настал праздник — изо дней день в году. Ангелы являются во плоти, уходят и приходят снова. Вся природа оживает, точно у всех духов и богов проснулось воображение и являет живые образы отовсюду. Вчера не слышать было птичьего голоса, мир был сух, каменист и пустынен; сегодня — все населено и наполнено; все создание цветет, роится и множится.

Дни ткуются на чудном станке: основа и уток его — прошедшее и будущее. Нити ложатся величественным рядом, как будто все боги принесли по нитке для небесной ткани. Странно подумать, отчего мы богаты, отчего мы бедны; — несколько больше, несколько меньше монет, ковров, платьев, камня, дерева, краски: тот или иной покроей, та или другая форма; наша доля — точно доля краснокожего индейца: — один гордится тем, что у него есть нитка бус или красное перо, — а остальные, не имея ни того, ни другого, почитают себя несчастными. Но не таковы те сокровища, на которые истощилась для нас природа: веками образованная, тонкая, сложная анатомия человека, над которой потрудились все прежние слои мироздания, все племена, бывшие до нас; — все формы и образы творения, которыми окружены мы; вся земля и исполнение ее; воздух — несущий дыхание и меру жизни; — море, зовущее вдаль; бездна небесная со всеми ее мирами; и на все это отзывается мозг с нервным составом, и глаз, способный проникать в бездну, и бездну снова отражать в себе: — бездна бездну призывающая. Все это без меры дано всем и каждому, — не то, что бусовое ожерелье, что ковры и монеты наши.

Не диво ли это? И это диво в руках у последнего нищего. Рынок людской кишит под голубым небом, и в небе херувим и серафим над ними витают. Небо — это сияние славы, которым Великий Художник одел свое создание, — это предельная черта

между материей и духом. Это край мироздания: дальше не могла идти природа. Когда бы осуществились самые блаженные сновидения наши, когда бы тонкая сила открыла нам новое зрение, и мы увидели, как ходят по земле миллионы духовных существ, и тогда бы, кажется, открылось, что сфера, в которой они движутся, окружена отовсюду той же самой тканью синевы небесной, которая осеняет меня теперь на городской улице, между ежедневных дел человеческих.

Странно, что на богатом нашем английском языке не находится слова, чтоб назвать вселенную. Есть старинное английское слово *Kinde* (род), но оно выражает лишь малую часть того, что заключается в прекрасном латинском слове, имеющем тонкий оттенок будущего, дальнейшего бытия: *natura*, т. е. не только рожденное, но и *имеющее родиться*, чему в германской философии соответствует *das Werden*. Но ни на одном из новых языков нет слова для выражения силы, действующей только *в красоте*. Для нее было только одно соответственное слово на греческом языке: *Kosmos*, и оттого Гумбольдт прибрал удачное название *Kosmos* для своей книги, в которой изложены последние результаты науки.

Таковы дни: земля — полная чаша, которую предлагает нам природа от безмерных щедрот своих, каждый день, в насущное наше питание; и покров чаши нашей — свод небесный. Но нам дана еще сила *мечты*, которая с нами родится и остается при нас до последнего издыхания.

Она ласкает нас, льстит нам, обманывает нас с ранней зари до вечерней, от рожденья до смерти, — и ничей опытный глаз не успевал еще до сих пор распознать обмана. Индусы представляют Майю, *энергию мечты*, в числе главных атрибутов Вишну. Моряки в бурю привязывают себя к мачтам и снастям корабельным: не так ли, в той буре воюющих элементов, которая зовется жизнью, требуется привязать к жизни души человеческие, и природа употребляет для этого, вместо канатов и веревок, всякого рода мечты и фантазии: для ребенка — погремушку, куклу, яблоко; для мальчика на возрасте — коньки, реку, лодку, лошадь, ружье; для юноши и для взрослого — нечего и приводить примеры, потому что им нет числа и предела. Иногда маска спадает, завеса медленно поднимается, удается человеку увидеть безобразную массу, набитую чучелу, — замазанную краской, подделанную снаружи. Юм утверждал, что изменяются только обстоятельства, а средняя доля счастья — всегда одна и та же; что у нищего, что сидит на мосту и ловит мух на досуге, и у вельможи, проезжающего мимо в богатой коляске, и у девушки,

выезжающей на первый бал, и у оратора, когда он с торжеством возвращается из парламента, — у всех разные способы душевного возбуждения, но количество его одно и то же.

Воображение всею своею силой помогает нам скрывать от себя цену и значение настоящего времени. Кто из нас не сознает в каждую минуту, что его настоящая деятельность ниже и меньше того, что бы он мог сделать? «Что ты делаешь?» — «Да ничего; я только что занимался вот чем, или я намерен делать вот что, а теперь я только...» Ах, простак! неужели никогда ты не вырвешься из сетей своего фокусника, — неужели никогда не поймешь, что когда исчезло *сегодня*, когда между нынешним днем и нами невозвратимые годы протянули уже свою лучезарную ткань, — минувшие часы сияют пред нами обольстительною славой, и тянут нас к себе, как фантастический роман, представляются нам царством красоты и поэзии? Как трудно смотреть на них прямо без обмана! Все, что в них происходило, все отношения, все слова и разговоры, все горячие интересы и горячие дела минувших дней, — все это бросает нам пыль в глаза и развлекает наше внимание. Тот сильный человек, кто может глядеть на них прямо, без смущения, не поддаваясь обольщению, кто видит в них все как было, сохраняя при себе свое самосознание; кто знает и помнит, что ничего нет нового под луною, и что было прежде, то и всегда бывает; кого ни любовь, ни смерть, ни политика, ни стяжание, ни война, ни удовольствие, — не в силах отвлечь от предпринятого дела.

Мир всегда сам себе равен, и всякий человек в минуту глубокого раздумья о себе чувствует, что проходит тот же опыт жизни, какой проходили до него люди в древних Фивах или в древней Византии. Непрестоящее *ныне* царствует в природе, и украшает наши кусты теми же розами, которые пленяли древнего человека в висячих садах Вавилона и Рима. Невольно просится в душу вопрос: стоит ли учить языки, стоит ли обходить вселенную для того, чтобы узнать такие простые и старые истины?

Перед нами — памятники древнего искусства, вырытые изпод земли города, вновь открытые рукописи и надписи: правда — это красота, и стоит знать ее историю, и наши академии сходятся решать нерешенные споры школ древнего искусства. Какие экспедиции, какой труд измерения, какие усилия умов — Нибура и Миллера и Лайарда, — для того, чтобы определить место нахождения Трои и столицы Нимродовой!⁷¹ Сколько морских походов — для того, чтобы почтить память Данта, — и для того, чтобы привести в ясность, кто открыл Америку, приходит-

ся пуститься в плавание не меньше того, какое нужно было для открытия. Дитя человек! ведь эта мягкая масса, из которой старшие братья наши в древности вылепили дивные свои символы, — совсем не персидская и не мемфисская и не тевтонская, и совсем не местная глина: — это обыкновенная известь, обыкновенный песчаник с водою и со светом солнечным, с жаром крови, с дыханием легких: ту же самую глину ты сам держал в неумелых руках своих, и бросил из рук, когда побежал ее же отыскивать в старых гробницах, в гробовых колодцах, в старых книжных лавках Малой Азии, Египта и Англии. Это все то же многозначатее *сегодня*, всеми пренебрегаемое; та же богатая бедность, всеми ненавидимая, то же многоглаголющее, любвеобильное уединение, от которого бегут люди в город, на шумный рынок. Нынешний день притаился и спрятался, — его надобно отыскивать: в нем удача и победа, в нем действительность, радость и сила. Всякий льстит себя, никто не думает, что настоящий час — критический, решительный час для всякого. Но всякому надо написать у себя в сердце, что каждый день, какой приходит, — лучший день в году. Ничего в правду не узнает человек, покуда не почувствует, что каждый день — день судеб в его жизни, день посещения. От века божество являлось на земле в смертной одежде, в низком и смиренном виде: плохое величие то, что любит являться миру с возвышения, в бриллиантах и в золоте. Настоящие цари и владыки оставляют свои короны в кладовой и являютя в простом и бедном наряде. В северной легенде наших предков Один является в виде рыбака, живет в бедной хижине, чинит свою лодку. В индийской легенде — Гари живет между поселян простым поселянином. В греческой легенде Аполлон живет с адметскими пастухами⁷², и Юпитер делит сельскую жизнь с бедными фиоплянами. И в нашей истории Иисус родился в яслях, и двенадцать апостолов его — из простых рыбаков. В нашей науке мы видим на каждом шагу, что природа являет в малом крайнее свое величие; таково было правило Аристотеля и Лукреция, — а в наши времена правило Сведенборга и Ганеманна. Возраст слоев земной коры определяется по тому же порядку, в котором совершается развитие яйца. В народных сказках и легендах наших — самая могущественная фея всегда меньше всех ростом. В учении о благодати смирение выше всех добродетелей, и живой образец смирения — Мадонна; в жизни тайна смирения — тайна мудрости человеческой. Заслуга гения перед человечеством всегда состоит в том, что он снимает нам завесу с простых явлений обыденной жизни, и мы видим, чего не подозревали прежде, видим божество в простой одежде, посреди тол-

пы цыган и разносчиков. В ежедневном быту прием для работы обличает нам мастера; мастер пользуется подручным материалом, не дожидаясь, покуда достанут ему издалека то, что слывет у других за отличное, или из чего другие работали со славой. «У полководца, — говорил Бонапарт, — всегда достаточно войска, если только умеет он употребить людей своих, и если сам делит поход с ними». Дело, которое принес тебе настоящий час, не отвергай для другого, более заманчивого и славного. Высшая точка на горизонте мудрости в одинаковом расстоянии отовсюду, и если хочешь найти ее, ищи ее теми способами, какие тебе самому сродны и свойственны.

Но воображению нашему всегда привлекательнее то дело, которое не на сей час требуется. Сегодня именно и в тот час, когда обещали мы придти на работу, в заседание, — как влекут нас к себе, сколько нам обещают дальние холмы и вершины!

Главный урок истории состоит в том, что она показывает нам цену настоящего часа и долг его. Благо мне, дело мое — то, на которое мне указывают родина моя, мой климат, мои средства и материалы, мои сотоварищи.

Есть поверье, что конские волосы в воде превращаются в червей-волосатиков. Ученые считают его басней; но мне часто думается, что старые вещи гниют, и из прошедшего рождаются змеи. Поклонение делам предков может превратиться в обманчивое чувство. Достоинством их было не поклонение прошедшему; заслуга их состояла в том, что они чтили настоящую минуту, и мы напрасно ссылаемся на них в оправдание такой склонности, которая им была бы противна, которой они не следовали в жизни.

И еще любимая мечта наша — что нам мало времени для дела. Но мы могли бы размыслить, что многие твари вкушают из одной чаши, и каждое существо, сообразно своему составу, принимает и перерабатывает в нем те элементы, которые ему свойственны, — и время и пространство и свет, и воду, и пищу телесную. Змея обращает всякую свою добычу в змею, лисица в лисицу; и Петр и Павел обращают все бытие свое в Петра и Павла. В Нью-Йорке кто-то однажды жаловался, что мало времени. Простой индеец ответил ему умнее иного философа: «Мне кажется, в твоей власти все время, какое у тебя есть».

Есть еще мечта: мы не можем отрешиться от мысли о великом значении долгого времени — года, десятилетия, столетия. Но старая французская поговорка гласит: Божие дело в минуту совершается, — «*En peu d'heure Dieu labeure*». Мы молим себе долгой жизни, но долгая жизнь значит: полная жизнь, жизнь,

великая минута. Истинная мера времени — духовная, а не механическая мера. Жизнь длинна свыше меры. Минуты духовного разумения и провидения, минуты полного единства в личном отношении, одна улыбка, один взгляд, — вот чем мы проникаем в вечность и черпаем из нее полную меру. В такие минуты жизнь возносится до крайней точки и сосредоточивается; по словам Гомера, «боги однажды только и в один только день дают смертным ту долю разума, какая кому назначена».

Я одного мнения с поэтом Вордсвортом, что «одно только есть в жизни счастье и нет иного — счастье в разуме и добродетели». Одного мнения с Плинием, что «чем больше углубляемся мыслью в эти истины, тем более долготы придаем своей жизни». Я одного мнения с Главконом, когда он говорит: «О Сократ! мера жизни для мудрого — говорить и слушать речи, подобные тому, что мы от тебя слышим». Тот один может обогатить меня, кто даст мне мудрость дня, кто мне осветит путь мой от восхода до восхода солнечного. — Разумение дня — служить мерою человека. Поэт, с одною своею поэзией, математик, с одними своими проблемами, не вполне удовлетворят нас; но когда человек постигает душой заодно и основные начала мироздания и праздничное величие вселенной, — тогда и его поэзия верна и числа его отзываются нам музыкой. Не тот для меня ученый из ученых, кто может раскопать передо мной погребенные в земле династии Сезострисов и Птолемея, определит мне годы олимпиад и консульств, но тот, кто может раскрыть мне теорию нынешнего понедельника, нынешней середины. Есть ли в нем то знание любви (*piety*), которое одно умеет разгадать пошлость ежедневной жизни, может ли он снять покровы с тех уз, которыми пошлые люди, пошлые предметы соединяются с первым началом бытия? Пролетело пятнадцать минут: в людском мнении, это доля времени, а не вечность; мелкая, подневольная доля, — доля *надежды* или доля *памяти*, это дорога к счастью или *от* счастья, но не само счастье. Может ли он показать мне эту четверть часа в связи ее со счастьем и с вечностью? Вот истинный ученый, вот кто может провести нас из рабского и нищенского быта — в богатство и в уверенность. С ним, на том месте, где он, — честь и достоинство. Наша *Америка*, нищенствующая Америка, любопытствующая, всюду заглядывающая, повсюду странствующая, всему подражающая, изучающая Грецию и Рим, и Германию, и Англию, — Америка снимет запыленные свои сандалии, сбросит полинявшую дорожную шляпу, и останется дома, и сядет в мире и в сиянии радости. Посмотрит вокруг себя: во всем мире нет таких видов природы, в истории веков не было такого часа, в

будущем не найдется другой минуты благоприятнее! Час поэтам петь, час искусствам раскрывать свое богатство!

Еще одно замечание. Жизнь только тогда хороша, когда она очаровательна и музыкальна, когда в ней полный лад, полное созвучие, и когда мы не анатомируем ее. Держи в чести дни свои, превратись сам в день свой, не допрашивай его, как профессор ученика. Мир наш — загадочный мир; все, что говорит-ся, все, что познается и делается, — все загадка, все надобно принимать не в разуме буквы, а в разуме духа. Чтобы уразуметь все вправду, мы должны быть наверху своего звания. Когда птица поет песнь свою, слушай, но если хочешь слышать песнь, берегись разлагать ее на имена и глаголы. Постараемся воздержаться себя, отдать себя, покориться. Когда утро наступает, дадим место утру.

Все во вселенной идет волной и изгибом. Прямых линий нет. Помню, как теперь, что рассказывал иностранный ученый, захавший на неделю к нам в дом — на радость моей юности: «Любимая забава у диких островитян, — сказывал он, — играть с волною на береговом прибое. Они ложатся на волну, которая подхватывает их и выносит, потом плывут опять, отдаются волне, и с наслаждением по целым часам занимаются этой игрой. Вся человеческая жизнь состоит из таких же переходов. Надобно уметь выйти из себя, отдаться: кто не умеет этого, для того не может быть и величия. А у вас здесь и астрономия как будто для того, чтобы присматривать за человеком. Не смеешь выйти из дому и посмотреть на месяц и на звезды: все кажется, что и они считают шаги мои и допытываются, сколько строчек и страниц я написал и прочел с тех пор, как с ними виделся... не так живали мы в своем краю: все наши дни были не похожи друг на друга, все смыкались воедино — единою любовью к тому, что занимало и наполняло нас. Чувствовать полным свой час — вот в чем счастье. Наполните, боги, час мой, так, чтобы, когда прошел он, я мог бы сказать: я прожил час, а не говорил бы так: вот, прошел еще час моей жизни».

Нам нужны не *дельные* люди, мастера на всякое литературное или искусственное дело, те, что умеют написать поэму, отстоять судебный процесс, провести ту или другую меру — за деньги; те, что могут крепким усилием воли обратить свою способность куда угодно — на тот или другой предмет, в ту или иную сторону. Нет; — все, что совершено лучшего в мире, — дело гения — совершалось даром, ничего не стоило; вышло на свет без тяжких усилий, свободным течением мысли. Шекспир создал своего Гамлета, как птица вьет гнездо свое. Иные поэмы вылились

бесознательно, между сном и пробуждением. Великие художники писали картины в радость себе и не чувствовали, как сила из них выходила. Так не могли бы они писать в хладнокровном настроении. И мастера лирической нашей поэзии так же писали свои песни. Чудная сила цвела в них чудным цветом красоты, — и творение их было, по выражению известных писем французской женщины «прелестным случаем прелестнейшей жизни» (*le charmant accident de l'existence encore plus charmante*). Ни один поэт не истощается, не терпит убыли от своей песни. И песни не будут, пока не пришел час вольно и в красоте спеть ее. Если оттого поет певец, что должен петь и что нельзя миновать песни — то лучше пусть ее вовсе не будет. Сон сам собою приходит к тем одним, кто не заботится о сне; так и говорят и пишут всего лучше те, кого не нудит забота: как скажется, и как напишется.

В науке — то же самое: наш ученый часто бывает из любителей. Подвиг его состоит в какой-нибудь записке для академии — о странной рыбе, о головоастиках, о паучиных ножках; он делает наблюдения, сидит над микроскопом, как другие академики; но когда записка его окончена, прочитана, напечатана, — он входит снова в обычную жизнь, которая идет у него сама по себе, совсем отдельно от жизни ученой. — Не таков Ньютон: у него наука была так же вольна, как дыхание; для того, чтоб определить вес луны, он употреблял ту же умственную способность, которая ему служила на застежку крючков на платье; вся жизнь его была простая, мудрая, величественная. Таков был Архимед — всегда сам себе подобен, как свод небесный. У Линнея, у Франклина — та же ровная простота и цельность; нет ни ходулей, ни вытягиванья; и дела их плодотворны и достопамятны всем людям.

Освобождая время от всех его иллюзий, стараясь отыскать сердцевину дня, мы останавливаемся на качестве минуты и отлагаем заботу о долготе ее. На какой глубине стоит наша жизнь — вот что важно для нас, а широта ее протяжения не существенна. Мы стремимся к вечности, а время — преходящая оболочка вечности; и в самом деле, от малейшего ускорения мысли, от малейшего углубления мыслительной силы, наша жизнь расширяется, углубляется, и мы чувствуем долготу ее.

Есть люди, которым нет нужды проходить долгую школу опытов. После многолетней деятельности они могут сказать: все это мы наперед знали; они с первого взгляда любят и отвращаются, умея различать сразу сродственное и несродственное. Они не спрашивают никогда об условиях, потому что сами всегда в еди-

ном условии с собою, и живут в волю; приказывают другим, не принимая ни от кого приказа; сознавая право свое на успех, всегда к нем уверены, и всегда пренебрегают общие приемы и способы для успеха. Сами собой живут, сами собой держатся, сами ведут себя. Во всяком обществе остаются — сами собою: им это позволяется. Они велики в настоящем; они не имеют талантов и не заботятся иметь их, потому что в них та сила, которая прежде таланта была и после таланта будет, и самый талант употребляет себя орудием. Сила эта — *характер* — самое высокое имя, до какого достигла философия.

Не важно, *как* такой человек делает то или иное дело: важнее всего, кто он, что такое он сам. Кто он, что в нем, — это выражается в каждом его слове, в каждом движении. Здесь минута сливается с характером: не различишь одно от другого.

Преимущество характера над талантом прекрасно выражено в греческой легенде о состязании Феба с Юпитером. Феб стал вызывать богов на состязание и спросил: кто из вас обстреляет Аполлона, стелометателя? — Зевс отозвался: я обстреляю. Марс принес жеребьи, положил их в шлем свой, и первая очередь вышла Аполлону. Он натянул лук свой и метнул стрелу далеко, на край дальнего запада. Тогда встал Зевс, одним движением занял все пространство и сказал: куда стрелять? Не осталось места. И боги присудили награду за стрельбу тому, кто не брал в руки лука.

И вот путь восхождения для духа, ищущего мудрости: — от дел людских и всякого делания рук человеческих — до наслаждения теми силами, которые управляют делом; от почтения к делам — до мудрого благоговения перед таинством времени, в которое дух человеческий поставлен для делания; от местных искусств и от экономии, считающей *по частям* сумму производительности, — до той высшей экономии, которая ищет видеть качество дела, право на дело, веру и верность в деле; ищет проникнуть через дело в глубину мысли, являющейся в деле, мысли во вселенском ее значении, той мысли, которой корень не во времени, а в вечности. Источник таких дел — характер, — высшее начало духовной цельности. Перед ним все минуты равны; он дает человеку величие во всяком звании; в нем единственное определение свободы и силы.